

МАГИЯ  ФЭНТЕЗИ

Азамат КОЗАЕВ



ЛЕДОБОЙ. КРУГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА

Ледобой

Азамат Козаев

Ледобой. Круг

«Автор»

2008

Козаев А.

Ледобой. Круг / А. Козаев — «Автор», 2008 — (Ледобой)

Герой не может пасть в битве, если так не предначертано судьбой. Даже если он сам этого хочет. Он выстоял, один против пятнадцати, но та, ради которой сражался, ударила последней. И ужаснулась содеянному. Легко уйти от своего счастья, но очень трудно вернуться. Вот и отправилась бывшая рабыня, бывшая жена в долгий и кровавый поход со слугами Черного всадника ради возвращения утраченного по безрассудству мира и покоя с любимым. А ему, Безроду, воину, мечтавшему никогда больше не вынимать свой меч, в который раз пришлось выйти на бой с порождением Тьмы. И круг замкнулся!..

© Козаев А., 2008

© Автор, 2008

Содержание

ПРОЛОГ	5
Часть первая	8
Глава 1	8
Глава 2	23
Глава 3	35
Глава 4	51
Глава 5	66
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Азамат Козаев

Ледобой. Круг

ПРОЛОГ

Мощный вороной под седлом, лениво прядая ушами, степенно шагал по сумеречному лесу. Толстые полеглые стволы обходил, тонкие и прогнившие молот крепкими копытами в труху и ни разу не оступился, будто видел в полутьме. Вдали, еле слышно, завели свою извечную песню голодные волки, но всадник даже ухом не повел. И разу лишнего не вдохнул. Точно спал. Повесил голову на грудь и сообразно с поступью коня лишь мерно покачивался.

Солнце почти село. Небо в просвете древесных крон еще сизело, но на землю уже легли сумерки. Лесные отчаюги завывали совсем близко, в полутьме меж стволов неслышно стлались белесые пятна с горящими голодным огнем глазами. Но вороной, утробно всхрапывая, продолжал степенным шагом мерить лес и равнодушно косил по сторонам.

И вдруг волки остановились. Беспokoйно, как один, вздернули носы по ветру, истошно завывали и попятились, приседая на задние лапы. А когда жеребец, лениво повернув крупную, лобастую голову, раскатисто всхрапнул в сторону серых, самые молодые и неопытные припустили прочь. И все бы ничего, как только еда не ревет, но... клыкастые матерые убийцы беспokoйно завозились, настороженно поводя ушами. Нет, не так голоса смирные крестьянские лошадки, когда редко-редко удается загнать их в ловушку и насладиться теплой кровью. В оглушительное ржанье вороного замешались медвежий рев и рысий рык, по отдельности и все сразу. Ни с тем, ни с другим встреча добра не сулила, кое-кто из волков за долгую жизнь убедился в этом на собственной шкуре. Вожак последний раз понюхал воздух и, не оглядываясь, потрусил обратно в лес.

Далеко за полночь, когда взошла полная луна и скудный свет просочился через лиственный полог, вороной, оглушительно заржав, резко остановился и поднялся на дыбы. Всадник покоился в седле будто влитой и лишь качнулся, когда жеребец встал на задние ноги. Мгновенно пробудился ото сна и ласково потрепал коня по шее, успокаивая:

– Тихо, тихо, Черныш! Тебе придется постоять смирно. Я недолго.

Спешился и валко пошел вперед, туда, где чернее черного поперек небольшой поляны лежало огромное бревно. Сухие ветки жалобно трещали под ногами одинокого путешественника, впрочем, темнота ему не мешала – он ни разу не споткнулся, будто наперед знал, куда ступить. Присел и положил на землю ладонь.

– Кострище. Не так давно на этом месте ярко горел огонь. Тут, на бревне, они сидели. – Следопыт зачерпнул полную горсть золы и просыпал через воронку ладони.

Встал, оглянувшись и почти в кромешной тьме уверенно двинулся к самому краю поляны. В нескольких шагах от кострища, прямо перед стеной разлапистых кустов, на узкой тропе лежали останки человека, вернее, то, чем пренебрегли даже волки. Толстый бычий нагрудник едва выступал из высокой травы, полупустая одежда валялась тут же, а внутри промокших штанов и рубахи, изрядно оплывшая и опавшая, исходила тленом мертвая плоть. Путник, чью дорогу не решились перейти даже серые охотники, присел у останков и, нимало не брезгуя, положил руку на череп с ошметками полусгнившей кожи.

– Ножом он вспорол брюхо, от ребра до ребра, – прошептал странный всадник, словно разговаривая с мертвецом. – И Костлявая забрала тебя почти мгновенно. Будь ты обычным трупом, первым делом падальщики сунулись бы в дыру в пузе. Если бы зверье не боялось подойти ближе и умело разговаривать, оно поблагодарило бы твоего убийцу. У меня много имен, и готов поклясться любым из них, что это было очень больно.

Следопыт не морщил нос, будто тошнотворный запах гниющей плоти его не тревожил вовсе. Лишь молча встал и сделал еще несколько шагов по поляне.

– Второй и третий... – присел над телами. – Тебя он убил ударом в сердце, а тебе просто вырвал горло. Лежите рядом, как братья, и даже черепа у вас похожи – лбы низкие, челюсти лошадиные...

Парой шагов дальше лежало еще одно тело. Когда следопыт подошел ближе, пришлось носком сапога переворачивать останки на спину, неблаго мертвец покоился на груди, разметав руки в стороны.

– Четыре, – стоило перевернуть труп, его безвольная челюсть бессильно отвалилась, и огромная сколопендра выползла из разверстого рта. Это не испугало охотника за тайнами, он спокойно положил руку на череп и скривился, но вовсе не отвращение стало тому причиной. – Тебе не хватило быстроты и чутья, ему – наоборот, хватило за глаза. Развален от бедра до плеча, вскрыт, как морская раковина. Не будь вокруг разлит ужас, твое вкусное сердце сожрали бы волки или лисы, а trebuха досталась бы медведю.

Над пятым хладнокровный путешественник стоял долго. Отошел влево на пару шагов и сапогом надал что-то круглое, а когда голова встала почти точно по месту – у обрубка шеи – присел, как делал это раньше.

– Ты мучился меньше остальных. Даже не успел понять, что случилось. А клинок... – следопыт положил руку на меч, который «пятый» так и не выпустил, зажав мертвой хваткой, – остался голоден. Не напился крови. Твоя собственная – не в счет.

За кострищем у противоположного края поляны лежали еще трое. Многоименный хозяин Черныша обозрел их с улыбкой.

– Шестой, седьмой и восьмой. Вас убрала она. Она... – усмехнулся и по очереди ощупал черепа, все в каше гниющей плоти. – Не стоит недооценивать противника, даже такого, который заведомо слабее. Дурачье!

Следопыт встал с колен, еще раз обозрел поляну и вперил пронзительный взгляд куда-то в чашу, туда как раз вела еле заметная тропа. Подошел к вороному, легко вскочил в седло и шагом направил по тропе.

Под копытами Черныша гулко трещали сучья, и на каждый звук ночное зверье испуганно верещало. Пернатый народ, поднятый с ветвей, кружил над поляной, но опуститься не решался. Двоих, что лежали, раскинув руки, чуть левее тропы, всадник лишь проводил поворотом головы и даже спешиваться не стал. Только процедил еле слышно: «Девять, десять». Сотней лошадиных шагов дальше следопыт остановил вороного – не встать было невозможно – и с высоты седла оглядел следы быстротечного ночного побоища. Прямо на тропе, сваленные неразборчивым убийцей в кучу, в беспорядке лежали останки одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого. Но вовсе не они вызвали интерес. Пустив Черныша в обход, по краю тропы, всадник подъехал к трупу четырнадцатого, что сидел, привалясь к стволу, и упасть на бок ему мешал нож. Только рукоять торчала из грудины, лезвие длиной в две ладони скрыли гниющая плоть и древесина. Верховой спешил, обошел труп кругом и, встав со стороны лица, присел. Положил на рукоять ножа ладонь и усмехнулся.

– Убит собственным ножом. И болтал, болтал перед смертью как сорока. Уйти ты не мог – перебита нога, – тут у осины и кончился. Четырнадцатый, и последний. Это значит, что здесь мне делать больше нечего.

Ночной следопыт вскочил в седло, пустил жеребца тем же размеренным шагом и, опустив голову на грудь, провалился в сон. Все так же степенно Черныш перебирал мохнатыми ногами, с дороги многоименного волчьего страха во все стороны разбегалась перепуганная живность, и даже наглое воронье, пролетая над всадником, умолкало. Через какое-то время все стихло – угомонились на ветвях птицы, волки опасливо нюхали воздух и косились в сторону, куда ушел всадник, а на тропе и поляне остались обезображенные временем трупы. Догнивать. Ни одна

живая тварь, наделенная духом, не подойдет и близко. Что-то сущее, чему нет названия, гнало четвероногих подальше от страшного места. Там напрочь отбивало нюх, слух, и даже медведи скулили, точно котята, в ужасе катаясь по траве.

Часть первая ОДНА

Глава 1 ЖИВ

Не знаю, кто из богов сжалился надо мною, самой распоследней дурой. Ратник? Или бог домашнего очага Цеп? Впрочем, дело не во мне. Еще чего недоставало – в угоду прихоти сумасшедшей бабы закатывать под горку достойного человека! Боги рассудили по-своему, и за это я останусь благодарна им до последнего дыхания. Когда мой меч остервенело пошел вниз, Безрода в тот же миг покинули силы. Истекли, как вода из разбитого кувшина. Сивый закрыл глаза, отпустил сознание и, не выпуская меча, повалился наземь, а между ними – клинком и человеком – пролегал тончайший волосок. Как обещала, я насмерть полоснула муженька, но мечу не было суждено отвесть его крови. Боги разрешили ударить, но не позволили добить. Так и нашли они землю друг за другом, Безрод и мой меч в нескольких пальцах от его головы. Предчувствуя непоправимое и не в силах остановить удар, я рухнула после замаха на колени, а клинок врубился в истоптанную землю у самой головы беспмятного Сивого.

– Ты гляди, била насмерть, не убила, – вкруговую понеслось по толпе. – Когда такое увидишь?

Как во сне я вертела головой по сторонам, ничего не видела, и даже слышимое до меня не доходило. Кто жив? Кого не убила?

– Кажется, плачет...

– Плачет? Жалеет, что не убила! Как пить дать жалеет! А добить нельзя – уклад не велит. Если избежал смерти, должен жить. А как же?

Нас окружили. Подходили вои, приказчики Брюста, сам купчина встал над Безродом. Я лишь слышала шорох травы под ногами и не смела открыть глаза. Кто-то от злости за такой исход заскрипел зубами.

– Что делать с этим? – спросили незнакомым, хриплым голосом.

Брюст помедлил:

– Ничего. Он не выживет. Готовьте тризные костры. После полудня тронемся дальше.

Люди стали расходиться, вокруг меня опустело, стихли звуки, а я, дура, все стояла на коленях, раскачивалась, как припадочная, и подвывала вполголоса. Не могла избыть тяжелого чувства непоправимого, что не давало вернуться к себе, прежней. Так бывает. Вот перейдешь незримую грань и полсебя оставляешь за чертой. Все не то, все не так. Будто внутри, по самой середке зазмеился шрам, с одной стороны остается прошлое, с другой грядущее. И холодно... от чувства безысходности веет могильным холодом.

Кто-то, приволакивая ноги, колченожил к месту побоища. Ну, кто еще не видел подлой убийцы? Кто не разнюхал солоноватый смрад? Кто припозднился? Меня грубо пихнули, и я слетела с коленей наземь. Как стояла, так и упала – плашмя, лицом в землю, удобренную кровью до тошноты.

– Двинься, змея! – прохрипела Гарька, и от участи быть растоптанной меня спас Тычок – это он сдерживал нашу коровушку и вовремя отпихнул в сторону. После кровопускания мудрено оставаться в добром здравии.

– Гарюшка, милая, побереглась бы. – Старик суетливо бегал вокруг нас, то к Безроду кинется, то к Гарьке. – И Вернушку не тронь! Забыла?

Сивый заповедал меня трогать... вот и не стали мараться. Вспомнили последние слова. Но что это... мне кажется или действительно Гарька напряглась и подняла с земли тело? Земля у моего лица вздрогнула, как если бы человек с тяжелой ношей сделал первый шаг. Тычок помогал и, задыхаясь, болтал без умолку.

– Осторожнее, Гарюшка, не растрясти бы... А сдай маленько вправо, пригорочек обойдем... А на тряпки пустим рубаху, я всего-то дважды надел...

– Помрет, – обреченно буркнула наша коровушка, и голос ее сорвался, ровно звонкий меч треснул.

– А помрет – на костер взнесем. Ты да я.

Раньше он ее Гарюшкой не звал. Гарькой, зловредной девкой или, на худой конец, язвой. Но чтобы Гарюшкой... А для меня... самое время решить: жить или умереть. Нечего тянуть. Сделала непотребное – пошла вон в чертог Злобога, там самое место, хватит совести небо дальше коптить – открывай глаза и принимай должное. Сколько раз в морду плюнут – столько утрусь.

Гарька под ношей захрипела, видать, повело ее. Насилу удержали со старым. Я не утерпела и приоткрыла один глаз. Мамочка, да разве бывает на свете такое яркое солнце? И как в чертоге Злобога обходиться без него? Интересно, можно ли умереть только силой воли, от горя? Ну, вот я, дура, жить не хочу, поедом себя ем, обязательно ли нож в сердце сажать или само разорвется? Недолго уж осталось. Внутри тяжело, как будто проглотила неподъемную глыбищу, и катается она, и давит, к земле тянет. Смогу ли с такой тяжестью в груди встать?

– Ну давай, милая, вставай. Помогу. – Со спины подошел дозорный, та самая орясина, что паялился на меня, когда перед рассветом в лес кралась. – И не горюй, что не убила, сам помрет.

Дур-рак! Оттолкнула протянутые руки и одним махом взвилась на ноги. Он отпрянул. Всего-то помочь хотел. А сердце, как видно, лопаться вовсе не собиралось, хотя и разбежалось, мало, через рот не выскочило. Грудница так ходуном и заходила. Хоть бы и треснуло надвое, что ли! Смотреть мне и слушать все это непотребство?

– Сволочи! Все сволочи! – рявкнула что было сил, подняла с земли ком окровавленной земли и запустила в глуповатого дозорного, что хлопал передо мной глазами и не понимал, в чем дело.

– Упаси меня Цеп от женитьбы! – Парень сотворил обережное знамение и тихонько попятился. Должно быть, подозревал раньше, что все бабы дуры, теперь убедился в этом наверняка. Да, я дура! Дура! Где мой нож?

На меня оглянулись. Кто-то из воев покрутил пальцем у виска, дескать, у бабы с головой беда приключилась. Мудрено ли – столько крови слилось! А я шарила по поясу в поисках ножа и блуждала в трех соснах – с десятков раз пробежалась пальцами по клинку и не узнала. И только было нащупала рукоять, кто-то подошел со спины и грубо развернул меня к себе. Я не видела, не соображала, только одно и думала без конца: как в чертоге Злобога будет без солнца?

– Полегче, девка! Нож после такого – последнее дело.

– Сволочи! – шипела я и тащила лезвие из ножен.

– Не дури!

– Там не будет солнца! И не надо! –левой рукой врезала неизвестному доброхоту по сусалам и рывком вытащила нож.

Кого ударила – не видела, перед глазами повисло красное марево. Сослепу несколько раз полоснула воздух перед собой, чтобы не мешали, и задрала лицо в небо. На взводе и сунула бы клинок себе в грудь, да не судьба. Этот кто-то с двух рук от всей души отвесил папкиной доченьке таких тумачков, что небо и земля несколько раз менялись для меня местами. В последний раз боги, видать, что-то напутали, землю убрали на небо... И где в небесах я нашла головой тот камень?

Вечерело. Солнце падало за дальнокрай, и свое брали сумерки. Голова налилась такой тяжестью, что я мигом позабыла про тяжесть в груди. Сердца, если оно бывает у неопикуемых дур, больше не чувствовала. Вот бы кто-нибудь подошел и расколел мне голову! Лучше уж совсем без головы, чем голова с такой болью!

Кое-как поднялась. Верна, Верна, кто же тебя так? Видать, кто-то исполненный глубокой мудрости лишил сознания. Когда нож совала во все стороны, пострадать мог кто угодно, поэтому неизвестный мудрец счел за благо просто разлучить меня с памятью. Ничего страшного, погуляет и вернется.

Откуда-то тянуло палевом. Обоз Брюста уже ушел, и после него остались тризница – огромные погребальные костры. Чуть поодаль, в стороне от тропы, прямо на месте давешней схватки курились дымком четыре кучи с пеплом, древесным и людским. Там и было мне самое место, на одном из костров. Жаль, никто не догадался швырнуть в пламя, пока пребывала без сознания. Всем стало бы легче. Столько народу из-за меня, вертихвостки, полегло – жизни не хватит избыть тот грех. Больше от обоза Брюста ничего не осталось. Ни следов, ни вещей. Только лошадиный помет кучно лежал там, где стояли обозные коньки.

Я подошла поближе. Сама себя накручивала – присела под ветром и дышала палевом, хуже себе делала. Голова и так тяжела, пусть разорвется от горьковатого дыма. Если не лопнет, на всю оставшуюся жизнь запомнится запах глупости и вины. Не знаю, сколько мне осталось, но, сколько бы ни осталось, запомню.

В ту сторону, где маленький стан разбили Гарька с Тычком и куда унесли Безрода, старалась не смотреть. Но что бы себе ни говорила, косилась исподтишка. И незаметно, шаг за шагом подходила ближе. Делала вид, будто что-то ищущая. Даже слышно стало, о чем говорят.

– Вот и говорю, дескать, нет на Безроде вины. Ничего худого не задумал, словом никого не обидел. Но что же делать, если твои люди воровством промышляют?!

– А он?

– Нахмурился и спрашивает, мол, что украли?

– Жену! Я так и сказал – жену! Кто такое стерпит? Брюст подумал, подумал и кивнул. А что делать? Как отпираться, если парнишка даже не ходит и неизвестно, сможет ли вообще бабу приласкать.

Гарька прошипела вполголоса, но даже гадать было не нужно, о ком она:

– Змея подколотная!

– А раз так, говорю, должок на тебе. Он глаза на меня поднял и молча спрашивает, дескать, какой должок? Говорю, люди мы немощные, старик и две бабы, нам бы еды. Охотой не прокормиться, кто лук натянет? А стоять долго.

– А он?

– Говорит, недолго простоице. Мол, помрет Безрод. Я ему: поживем – увидим. И оставил купчина еды на три седмицы. И еще палатку. А потом я и четырех заводных лошадей продал: к чему нам столько?

Хитер. Сначала подарки выпросил, потом и лошадей сбыл. Пригляделась. И впрямь стоит палатка по ту сторону дороги, рядом горит костер, у огня сидят Гарька и Тычок. И тело лежит, закутано до самых глаз в одеяло. Неужели жив?

Пока подходила, думала, ноги растрясутся. Приволакивала, будто старуха. Те двое умолкли, оторвались от Сивого, глянули в мою сторону. Не доходя нескольких шагов, я замерла как вкопанная. Будто стена воздвиглась, чем ближе становилась к палатке, тем тяжелее давался каждый шаг. Потом и шагу ступить не смогла.

Гарька тяжело поднялась и двинулась мне навстречу. Шла тяжело, опираясь на рогатый костыль. Остановилась в шаге, неловко переступила и костылем прочертила полосу между мной и собой.

– Переступишь – убью.

- Мои вещи...
- Принесу. Стой тут.
- Гарька...
- Змея!

Вынесла мой нехитрый скарб, швырнула в пыль, прямо за черту, и еще раз глубоко очертила границу.

- Скатертью дорожка!
- А я никуда не уйду.

Ей показалось, что ослышалась. Уставилась на меня хитрыми синими глазищами и заморгала.

– Что?

– Я... никуда... не уйду, – отчеканила и улыбнулась. Когда болит голова и чувствую себя дура душой, становлюсь такой наглой.

- Гадина...
- Хочешь убить – убивай. Давно пора...

Я встала неподалеку, почти прямо у черты. Натаскала из лесу ветвей, соорудила шалаш и... осталась. Видела все, слышала все, но помочь ничем не могла. Гарька со мной больше не разговаривала, Тычок говорил, но с затаенной мукой в голосе. Сивый не подавал признаков жизни несколько дней кряду. Лежал и не шевелился. Дышал так слабо, что и вовсе было не понять, теплится жизнь или нет, лишь кровотечение давало понять – еще бьется сердце.

Тычок вовсе не отходил от Безрода. Даже спал тут же, под боком. По три раза на дню Гарька таскала окровавленные льняные полосы к речке, что текла неподалеку, стирала и сушила, перевязывал старик. А у меня обнаружилась только одна забота – сидеть у черты и пялиться по ту сторону, как там Сивый. Садилась и смотрела иногда по полдня кряду, не отрываясь. Однажды, когда Гарька убралась на речку стирать повязки и прочее белье, негромко окликнула Тычка. Старик, почти не смыкавший глаз, осунулся, похудел, по лицу пошли тени, стал едва похож на себя.

– Чего тебе, болезная?

Хорошо хоть разговаривает со мной. Гарька вообще ни слова не сказала с тех самых пор, как определила границу.

– А помнишь, ты сказал, что детки у нас пойдут славные? Ну, тогда, у Ясны, помнишь? Помолчал.

– Помню. Знать, ошибался.

Была бы я еще вчерашняя, злая и сердитая, сказала бы, что эти слова как по сердцу резанули. А сейчас ничего, хуже не стало. Просто не могло быть хуже.

– Помнишь, кошкой зыркала? Царапалась, кусалась, помнишь?

– Помню, Вернушка, помню. Было и прошло. Уж на что я старый, пожил, думал, знаю жизнь... И на старуху бывает проруха.

– А вдруг не ошибался?

Тычок усмехнулся, поднял измученные глаза к небу.

– Если бы не ошибался, такого не случилось. Ведь чудом не отправили на тот свет! И то неизвестно еще. Был бы обычным человеком, уже стризновали, и думать не пришлось бы, ошиблись или нет. Что молчишь, красота, глаза прячешь?

Был бы мой муженек обычным человеком... А ведь верно, будь на его месте обычный человек, тот же Вылег или глуповатый дозорный, на мне уже лежало бы клеймо «убийца». Если бы да кабы... Не делая скидок на подарки судьбы, я и есть убийца. Сколько людей на тот свет отправилось из-за меня. Было бы еще одним больше...

– Ничего я о нем не знала. И раньше замечала, что он какой-то не такой. Не так смотрит, не так рубится... Расскажи мне, Тычок. Хоть что-нибудь расскажи.

– И сказать мне тебе, Вернушка, нечего. Захочет – сам расскажет. Если жив останется. Недосуг мне, красота. Гарька возвращается, перевязывать пора.

Куда Безрод зашвырнул мое кольцо, когда освободил от жениных уз? Куда? Голова дырявая, ничего не помню. Хотя вспомни тут... Все, что знала на тот миг, в огне сгорело, когда полыхнул в голове костер отчаяния. Себя забыла, не то чтобы смотреть, куда кольцо улетело. Как будто... стояли мы около нашего стана, Сивый смотрел на восток и кольцо отшвырнул от себя лев... правой рукой. На следующий день, когда Гарька убежала стирать повязки и вообще по бабским делам, я тихонько перебралась через рукотворную границу и поползла по высокой траве туда, где надеялась найти кольцо. Рыскала, рыскала, возила носом по земле – тщетно. Должно быть, и зад отключила, пока искала, иначе как старик заметил бы меня в высокой траве?

– Что потеряла, красота?

– Э-э-э... да понимаешь... обронила...

Не скажу, что ищу. Это мое дело. Только мое и Безрода.

– Ох, темнишь, девка.

Тычок даже говорил теперь тускло и блекло, не так как раньше. Дни можно сосчитать, когда не вгонял в краску меня и коровушку. А то и несколько раз на дню. Теперь как будто иссяк родник шуток и побасенок. Знаю, куда ушли все силы. Тычок даже со мной говорил полусонный. Почти не спал, слушал каждый вздох Безрода, и это при том, что услышать дыхание Сивого было сейчас мудрено.

– Как он там?

– А никак. Лежит, ровно неживой. Дышит еле-еле, даже не шевельнется. А ведь четвертый день пошел.

Я подняла голову из травы, огляделась. Идет наша коровушка. Только драки сейчас не хватало. Ровно ящерка поползла обратно и, слава богам, успела. Кольцо не нашла. Ничего, попытка не пытка. Попробую еще раз. Еще много-много раз.

Ночи я боялась. Иному за счастье припасть к изголовью и провалиться в легкий сон. Мне – нет. Когда темнело и ночь набрасывала на все сущее молчаливое покрывало, я терялась и сходила с ума от страха. Из темноты вставали призраки, и чудились голоса. Видела Приуддера, воеводу Брюстовой стражи, того, что первым пал от меча Безрода. Гойг смотрел на меня странным взглядом, поджимал губы и качал головой. Видела тех двоих, что пали следом. Парни переглядывались и хмурились, глядя мне в глаза. У обоих раны сочились кровью, и славные малые недоуменно косились на окровавленные рубахи. А еще я боялась в ночной тишине услышать хоть малейший звук со стороны палатки. Так и твердила себе, кутаясь в одеяло: «Только бы Гарька не заголосила», «Лишь бы Тычок не стал блажить». Это значило бы только одно – его не стало. Моего Безрода не стало. И все равно сон не шел. Ворочалась и вскакивала на ноги от малейшего шороха. Начнет старик суетиться у ложа Безрода, я, как пугливая олениха, уже на ногах. Зашуршит Гарька ветками, я и тут подскакиваю. Только к утру забывалась беспокойной дремой.

– Шестой день уже, – мрачно буркнула Гарьке, стоило той выйти из палатки. Я не переставала здороваться. Моя вина, этим людям нечего ждать хорошего от предательницы. Сколько раз плюнут – столько раз утрюсь. Сволочное дело не хитрое.

Она промолчала. С тех памятных пор больше не говорила. Лишь однажды бросила как будто в небо:

– Встанет Безрод на ноги, захочет с тобой говорить, значит, и мне не с руки нос воротить. До тех пор знать тебя не знаю. Все сказала и повторять не буду.

Я утерлась. И ведь не спрячешься за широкую спину отца. Одна стою в чистом поле, вся на виду. Дура, каких на свете не бывает. И ушла бы, да ноги прочь не идут. Как будто не верят, что все кончено.

– Дай хоть глазком взглянуть.

Ничем наша коровушка не ответила, лишь посмотрела выразительно. А, плевать! Вот к ручью отлучится, перейду границу и посмотрю. Не могу больше. Он мой, слышишь, дура, мой!

Стоило Гарьке отойти, ужом порскнула за черту. Кашлянула у палатки и, когда изумленный старик откинул полог, нырнула внутрь.

– Тычок, миленький, дай хоть поглядеть на него!

– Не нагладелась?

Не-а. Я простодушно покачала головой. Не нагладелась. В ужасе прикрыла рот ладонью, да и сами руки ходуном заходили. Ноги подкосились, и я рухнула у тела своего бывшего. Искудал, щеки ввалились, губы плотно сжаты, бледен как снег, а на лице застыло то упрямое выражение, какое бывает у рыбаков, когда те тащат крупную рыбину. «Не пущу!» Он ухватил жизнь за скользкий хвосток и держит из последних сил. Много ли тех сил осталось? Покрывало кровью испачкано, что под покрывалом творится – даже думать не хочу.

– Что же ты наделала, красота? – покачал головой старик. – Что же ты наделала?

Не смогла ответить. Сивый будто на весах качался, и, для того чтобы отправить его на тот свет, шесть дней назад, не хватило одного-единственного удара. Моего. Боги, боги, если он выживет, никогда не перестану удивляться вашей мудрости. Просто смотрела на Тычка и видела будто в тумане – слезы набежали.

– Думал, понимаю что-то в жизни – нет, не понимаю.

Я тоже так думала. Даже не говорю о том, чтобы мир понять – себя понять не могу, хотя кое-что все же поняла. Безрод мой, и только мой!

Вдруг поток света, что лился внутрь через откинутый полог, что-то перекрыло, мы обернулись, и я не смогла узнать Гарьку. Глаза были в слезах. Просто нечто большое стояло в проходе и грозно молчало.

– Гарюшка, ты вернулась? Так скоро? – упавшим голосом прошептал Тычок.

– Удавлю гадину, – бросила так равнодушно, словно говорила о какой-то букашке.

Только и поняла, что мощная рука ухватила меня за шиворот и повлекла вон из палатки. У самой границы коровушка вздернула стоймя и от всей широкой души приложила кулаком. Я не сопротивлялась. Больше было смотреть на Сивого, нутро ледком холодило. Гарька валяла меня по земле и приговаривала:

– Добить решила? Тогда не получилось, теперь хочешь?

Промолчала. Толку от слов никакого. Лишь одно и радовало – она ни разу не ударила в живот и в грудь, только ребра мне сосчитала и зубы. Ишь ты, понятливая! Как будто увидела мое бабье будущее. Так мне еще понадобится живот? Глотая кровь из разбитых губ, я уползла к себе и в кои-то веки не видела призраков. Впервые за шесть дней. Провалилась в забытье, улыбаясь...

– Седьмой день уже, – прошамкала утром распухшими губами и улеглась у черты. Настелила лапника и улеглась. Так ребрам спокойнее. – Как он?

Тычок спал, беспокойно ворочаясь. Через откинутый полог я видела это отчетливо. Умаялся едва не вусмерть. А Гарька по обыкновению промолчала. Даже не покосилась в мою сторону. Плевать. Еще и спасибо скажу за спокойную ночь. В полдень уйдет на ручей, там и посмотрим.

Еду, что оставил купец, Тычок разделил на всех. Мое лежало у шалаша, едва початое – есть просто не хотелось, и по-моему, зайцы и мыши изрядно к нему приложились. Все равно. Еще разок попадусь Гарьке под горячую руку, даже эти крохи станут не нужны. И лишь когда поднялся Тычок, а коровушка подалась к ручью, я присипела:

– Лошадей бы выпасти. На длину повода все вокруг объели. Сделаю, если дадите.

Старик устал держать на меня сердце. Коротко кивнул и склонился над Безродом. Я тянула шею, заглядывала ему за плечо, но ничего не увидела. Закрыл. Ну, перевязывает старик, и пусть себе перевязывает. Увела коней на другой конец поляны и улеглась там же. Напекло голову летним солнцем, забило обоняние полевым разнотравьем – не заметила, как подошла Гарька. Что-то сумасшедшее вздернуло меня над землей и так встряхнуло, что все косточки взвыли, застучали друг о друга.

– Мало того, чуть не убила, без лошадей оставить хочешь?

Не-а, не хочу. Просто выпасаю. Но сколько же злобы накопилось в нашей коровушке! Все это время смотрела на мои чудачества, и вот прорвало ее. Душа полезла: не так на Безрода смотришь, не так на него дышишь. А куда мне деваться? Мне либо на этом свете поближе к нему, либо сразу на тот. О боги, как же хорошо бывает избавиться от сомнений и перестать обманывать саму себя. Кто только не выколачивал из меня дурь! Оттнiry в море, темные в лесу, лихие на дороге, неизвестный доброхот, что разлучил меня с памятью на целый день здесь, на поляне. Так и сказала:

– Кончай. Надоело. Нечего гладить, пора бить.

Думала, убьет.

– Безрод не убил, и я погожу. Но к лошадям на перестрел не подпущу. Так и знай.

Отшвырнула, и угодила я в дерево, что стояло в двух шагах. Молодой дубок встрепенулся до самой кроны, а я еще долго дышала вполпраза – внутри будто съежилось.

Когда поем, когда нет. Иной раз костерок разведу, определю котелок на огонь и сижую, бездумно гляжу на пламя. Несколько раз каша в угли прогорала – засиживалась до потери сознания. Мыслями далеко блуждала. Выбрасывала гарь и начисто перемывала посуду. Что поела, что не поела, одна хмарь внутри.

Мимо постоянно шли обозы. Оно и понятно, городок Срединник недалеко, а мы встали на самой дороге. Когда остановятся обозники на ночлег, когда нет, чаще мимо проходили. Но те несколько раз, когда у нас появлялись незваные соседи, я и вовсе глаз не смыкала, держала меч под рукой и приглядывала за палаткой. Не соблазнился бы кто-нибудь легкой добычей. Но по большинству соседи оказывались некрупными купцами, а таких обозов, как Брюстов, больше не встречали.

На восьмой день в самом вечеру подошел небольшой обоз и встал на ночлег. Обозники разбили стан как раз между нами и ручьем. Как водится, пришли поздороваться и оглядеть, кого нелегкая принесла в соседи. А может быть, наоборот – легкая. Я по обыкновению сидела у черты, когда они прошли мимо, четверо здоровенных мужиков и старик. Сдержанно закашлялись у палатки. Загораживая вход, из проема появилась Гарька и напряженно выглянула из-под бровей.

– Доброго здоровья соседям. – Все пятеро поклонились в пояс.

– Было бы здоровье и добро появится.

– Здоровья побольше, добра погуще, – разлыбился дед.

– Не приглашаем. – Из палатки выполз Тычок и развел руками. – Больно хоромы невелики.

Оба и словом не обмолвились, что внутри раненый лежит. Нечего дурной глаз приманивать. Тут одно зловерное слово, один недобрый взгляд могли нарушить равновесие и столкнуть Сивого в пропасть.

– Я – Потык, это мои сыновья. – Старик назвался сам, потом представил великовозрастных отпрысков, одного за другим: – Цыть, Полено, Перевалок и Тишай.

Мужики как мужики. Глаза настоженные, сразу выхватили взглядом Гарькину секиру и понимающе нахмурились. Слишком основательные для необдуманных глупостей и донельзя решительные для обдуманных поступков. Знала я таких. На пахотной земле иных не бывает. Тишай мне не понравился. Брови кустистые, глаза черные, вроде бегают, но наверняка не скажешь. Были бы глаза светлые, сразу углядела. А так...

– Не побрезгуйте, соседушки, отпробуйте. На торг возем. От всей души. – Потык преподнес шмат сала с красными прожилками и кувшин питья. – Бражка пшеничная, самолично на клюкве настоял.

Тычок понимающе кивнул и юркнул в палатку. Вынес мешок крупы. Без ответного подношения нельзя, никак нельзя. Мужики сдержанно приняли крупу, кивнули. Подошли ко мне.

– Я Потык, а это...

– Твои сыновья Цыть, Полено, Перевалок и Тишай. Едете на торг, бражку самолично настоял на клюкве. Все слышала.

Старик преподнес мне домашней простокваши в горшке. Увозят на торг еще молоко, но пока путь-дорога, тряска да болтанка, молоко благодаря хитрой закваске превращается в простоквашу, да такую, что пальчики оближешь. Я отдала драгоценной солью. Много отдала. Мне в жизни и без того соли хватает. Вон сколько ее с кровью на землю слилось!

– А...

– Мы не вместе, – опередила Потыка. Тот понимающе кивнул и дальше расспрашивать не стал. Лишь ухмыльнулся.

Полуночидали соседи тихо. Уж как водится, и бражки хлебнули, но шума не развели. У тех, кто живет пахотой, буйство не в чести. Земля требует обстоятельности, и в поле выверты обходятся дорого. Были бы еще молодые да бесперые, еще куда ни шло. Но не эти...

Наконец все улеглись и как будто уснули, но мне не спалось. Призраки. Опять. Отчего-то привиделся тот ражий детина из дружины Круглока, что воспылал ко мне страстью. Смотрел на меня укоризненно и качал головой. Я заметила, на следующий день после таких видений меня словно уносит из этого мира. Засыпаю прямо на земле у черты. Усталость берет свое. Значит, теперешней ночью все равно не усну, а вот к полудню меня точно косою подрубит – свалюсь там, где буду стоять. Сивый без изменений, даже не застонет. Где уж тут застонать, так зубы сцепил, дышит еле-еле.

Вылезла из шалаша, посмотрела на небо. Звезд высыпало видимо-невидимо. И отчего-то в благостной ночной тиши мне почудилось какое-то движение. Именно почудилось. Как будто тень зашуршала, а я услышала. Припала к земле, ровно кошка, и осторожно поползла вперед, благо трава выросла – по колено. Сначала не могла понять, откуда шуршит, ползла наугад, потом распробовала звук наверняка и двинула к выпасу, там стояли кони, мой Губчик и трое остальных. Нет, вы только поглядите, из травы показалась лохматая голова, огляделась и опять шасть вниз. Кто-то из соседусшек решил созорничать. Я припала к земле и какое-то время лежала неподвижно. Пусть первый обнаружится.

Один из гостей-соседей, как полоз, крался к нашим лошадям, и объяснение у меня находилось только одно – приглянулся табунок. Ничего иного придумать не смогла. А кто смог бы? Того и гляди, без лошадей останемся, но вовсе не по моей вине, как думала Гарька. Подождала, пока конокрад проползет мимо, затаилась в траве и тихонько пристроилась ему в хвост. Тихо, сволочь, ушел, не знала бы, что ползет, – никогда не догадалась. Как будто подсказал кто. Ражий детина? А ведь правда! Призрак ражего тряс головой и делал губами «Иго-го», словно лошадь изображал. Ай спасибо!

Ночной вор подполз к лошадям вплотную и остановился. Давал привыкнуть к себе. Что-то зашептал, успокаивая табунок, и медленно приподнялся из травы. Тут и я, как могла, тихо

подкралась. На меня лошади и ухом не прянули, ну ползет Верна и пусть ползет себе. Эка невидаль! Нет, это не старик Потык. Кто-то из его сыновей, но кто – поди угадай. Все, как один, коренастые и лохматые. Были бы хоть рубахи разного цвета – нет же! Одинаковые, ровно гуси.

– Тихо, мои лошадушки, тихо красивые!

Потянул руки приласкать, но мой Губчик и Безродов Тенька, всхрипнув, прянули назад. Не дались. Не успокоил их напевный голос. Я тише мыши поднялась и, ступая, ровно кошка, сделала шаг вперед. Нож давно вынула из сапога и теперь крепко сжимала мечным хватом. Раньше, бывало, от азарта делала глупости, никогда не удавалось подкрасться незаметно. Там шумлю, тут себя выдам. Еще на отчем берегу воевода Пыряй говорил, дескать, все хорошо делаю, но сердце бухает так, что можно услышать, а от волнения начинаю преть, и сладковатый бабий запах расскажет обо мне чуткому носу прежде, чем увидит острый глаз. Наверное, что-то изменилось. Азарт ушел. Сердце бьется ровно и равнодушно. Кожа суха, словно земля в безводную пору. Наверное, поэтому соседка и не услышал. Всего в шаге поднялась из травы и выросла прямо за спиной. И только он протянул руку к поводу, скорее молнии завела нож под челюсть и прижала острой кромкой к горлу, чуть пониже бороды. Ага, поучите дружинного неслышно подкрадываться!

– Не спится, милый? – ласково прошептала в ухо.

Как был – с протянутой рукой, Потыкович замер. Даже слова не сказал. Должно быть, я пережала, слишком плотно сунула лезвие к глотке. Чтобы лилась речь, горло должно ходить вверх-вниз, конокрад же не смог вымолвить ни слова.

– Сейчас мы тихонько развернемся и пойдем обратно, – шепнула. – Лишний раз вздохнешь, раскрою горло. Я дура, пятнадцать человек на этой поляне из-за меня упокоились. Глазом не моргну, распахну второй зев. Понял?

Понял.

– Буду говорить, кивни, если угадаю. Ты – Тишай?

Потыкович помедлил и кивнул. Значит, не показалось, действительно глазки бегали. Так и пошли вперед медленными шажками, рука с ножом под бородой.

Чего-то подобного я ждала. Такие слишком хитры, чтобы не попытаться выскользнуть. Ровно уж прокрутился на одной ноге, повернулся лицом ко мне и нырнул вниз. Дур-рак. Не то чтобы опоздала его вскрыть, просто не хотелось крови. Ее и так слилось на этой поляне больше, чем необходимо. Пусть живет. А вот он решил меня кончать. По нехитрой прикидке Тишай расклад выходил незамысловатый – девка одинокая, сама сказала, что не с теми двоими, значит, никто не хватится. Скажет остальным, будто собралась в ночи и ускакала, дескать, и лошади нет, видите? А что нож и меч при мне – всякий дурак полезет проверять, мои или нет. Конокрад прынул в ноги, подсек и навалился, обеими руками опутав руку с ножом. Я не ломалась, держит руку с ножом – пусть держит, но, когда борода густа и окладиста, жди неприятностей с любой стороны. Зачем терзать руку в локте, возвращая себе нож? Дернула шеей, ухватила зубами бороду. Рот мне забили жесткие волосы, я закрыла глаза – в нос ударили терпкие запахи пота и чеснока – и, отбрасывая голову назад, дернула изо всех сил. Глухой, сиплый рык вырвался из разверстого рта, непрошенные слезы прикрыли лошадиному глаза, и Тишай, позабыв обо всем, иступленно замолотил кулаками, куда ни попадая. Забыл про нож. Парни на отчем берегу говорили, что рвать бороду на горле очень больно. А я мотала головой по сторонам и старалась не думать о кулаках, что охаживали меня по бокам. Вернула руку с ножом, завела конокраду за спину, легонько подоткнула в темечко и прекратила рвать бородищу. Ощутимый укол заставил Тишай замереть. Я выплюнула бороду и внятно произнесла:

– Вдохнешь не ко времени – порежу. Обними.

Он не поверил. Обними?

– Быстро обними. Ясно говорю?

Ясно. Завел руки мне под крестец и прижался всем телом.

– Теперь перекатывайся на спину. Всего один поворот.

Потыкович осторожно перекатился на спину, каждый миг ожидая нож в затылок, а я по мере переворота уводила нож с темени на шею. Бок болел. Недавно получила в бока от Гарьки, теперь этот приложился.

– Медленно встаем.

Это я сказала «медленно встаем». На деле подскочила быстрее оленихи, поднятой волками, а вот Тишай вставал действительно медленно. Хватит на сегодня глупостей.

– Ослабь гашник.

Ослабил.

Скользнула ему за спину, молниеносно просунула руку с ножом за веревку и, прокрутив кисть один раз, затянула гашник петлей на запястье, при этом нож мертво уперся Потыковичу в спину.

– Ты один или все такие?

– Что?

– Спрашиваю, один любишь лошадок или отец с братьями тоже в деле?

– Один, – глухо бросил конокрад. – Их не тронь.

– Дурак ты, лошажник.

Мы подошли к стану Потыковичей, и я со всей дури пнула распорку, на которой держался тканый полог.

– Подъем! – заревела что было дурости. – Утро доброе, доброй ночи!

Как огурцы из бочонка, наружу посыпались гости-соседи, заспанные и немного хмельные. А кого бояться? Двух баб да старика?

– Что такое? Лихие напали?

Все четверо, на ходу оправляя рубахи, зевая, почесываясь, выкатились из-под полога. Кто-то из братьев раздул тлеющие угли.

– Да нашла тут одного, – выпростала руку из-за гашника и толкнула конокрада в руки отца и братьев.

В неверном свете кострищного огня лица всех четверых сделались ровно каменные. Старик так и вовсе поджал губы и свел брови на переносице. И только теперь, когда угроза миновала, я с отвращением отплевалась.

– Что опять учудил? – Потык с недоброй ухмылкой подошел к сыну. – Спрашиваю, что опять учудил?

Тишай кротко вздохнул и отвернулся.

– Лошади, – только и буркнул.

– Опять? – взревел отец и от души приложился карающей дланью к лицу сына. Голова лошажника только дернулась.

– Отец, я...

– Цыть, недоносок! – Кто-то из сыновей, как бы не сам Цыть, здоровенной ручищей так огладил брата, что незадачливый вор согнулся пополам и повис на кулаке старшего.

– Встань, бестолочь! – Потык за волосы вздернул непутевого отпрыска на ноги. – Всю душу вымотал! Уж сколько раз краснел из-за тебя на людях – украснелся весь! Обещал от земли отлучить – отлучу! И не посмотрю, что родной сын, – по миру пойдешь! Марш внутрь!

Здоровенный детина, кое-где и сам битый сединой, нырнул под полог, ровно нашкодивший отрок. Подозреваю, что отец и братья еще наддадут, когда вблизи не останется чужих глаз. Братья с самым свирепым видом друг за другом скользнули следом, старик задержался. Виновато посмотрел на меня, развел руками и поклонился в самый пояс. Я слегка кивнула. Ну до чего борода отвратна на вкус!

Немного времени прошло. Кто-то негромко кашлянул у входа в шалаш, и я вылезла.

– Уж ты прости меня, старика. – Потык топтался у входа и мял в руках какой-то сверток. – Дурак дураком сын вырос. На земле с малолетства, а ровно лошадиный дух вселился, тянет к ним и тянет. Спасибо за сына. Убить ведь могла?

Все старый понимает. Знает, что не бить полез Тишай – убивать. Убил бы, и концы в воду, мол, знать не знаю, ведать не ведаю.

– Могла и не сладить. Шустер, подлец. В дружину бы ему. Цены не будет. И при лошадях опять же.

– Да был. – Старик обреченно махнул рукой. – Коняки попутали.

– Стало быть, ущучили?

– Ущучили, – улыбнулся Потык. – Вон погнажи.

А может, и не стал бы убивать. Тут ведь как – привяжи к дереву и махни ручкой. День повоевала бы с веревкой, а там ищи-свищи и Тишай и коня. Если был дружинным, да с такой быстротой... мог и убить, ведь наверняка знает как. С течением времени все меньше оставалось во мне самодовольной похвальбы. Да, мог и убить.

– Говорит, людей трое, лошадей четыре. Зачем лишняя? – Старик тем временем развернул тряпицу и расстелил у входа, прямо на лапнике. На самобранке остались кувшин и сыр-каменец, чей своеобразный запах я тут же узнала.

Сыр-каменец штука интересная. Кусать, как обычный сыр, невозможно – зубы обломаешь. Лучше всего обсасывать, запивая бражкой. Потык предложил зла не вспоминать, а в знак добрых намерений уговорить каменец и найти дно кувшина с бражкой. Может, хоть брага нагонит сон?

– Да не трое нас, четверо. Четвертый в палатке.

– Чего ж не выходит?

– Не может. Порублен. Восьмой день закончился.

– Скажи пожалуйста! – Мой гость почесал загривок. – Не встает?

– Не-а.

Огня не зажигали. В темноте смутно белела тряпица, на ней чернел кувшин, по обе стороны которого лежали ломти сыра. К браге прикладывались по очереди, каменец брали на ощупь.

– Не знаю, встанет ли.

– Хочешь, чтобы встал?

– Все бы отдала.

Старик помолчал.

– Всю жизнь я на земле. Иной раз кажется, будто все идет само собой и мало что зависит от меня. Боги живут своей жизнью, земля – своей, а между ними я, клоп. Никто и звать никак. Сколько раз руки опускались, думал, не замечают Потыка всемогущие боги, а только раз, когда надежды не было никакой, из меня, дурака, упрямство поперло. Есть у нас в Полоречье поле. Ровно заколдованное. Земля там жирная, на ней бы сеять, ан нет – камни наружу лезут. Хоть ты тресни. Кто только из соседей ни брался – год, от силы два, и снова камни.

– Ну раз из тебя упрямство полезло, в два счета камни раскидал, – слышала я такие истории. В таких побасенках рассказчик всегда вровень с богами стоит. Все может, все получается. Махнет – улочка, отмахнется – переулок.

– Да нет. – Старик усмехнулся. – Камни на том поле остались. И, подозреваю, пребудут до скончания веков. Боги так захотели.

– Так в чем суть? Камни остались, мороки не убавилось...

– Поле стало моим, – коротко бросил Потык, усмехнулся и булькнул брагой. – У меня три года не было камней. Говорю же, упрямство полезло. Жилы на заступ намотал, но боги меня слышали. Три года от тяжести колосьев пшеница по земле стлалась. Такого не было ни у

кого из соседей! Все на свете чего-то стоит. Вот разживусь жилами, еще раз на заступ намотаю. Будут еще три года.

Я умолкла. Упрямство полезло... услышали боги... все чего-то стоит. Не это ли отец говорил, еще там, в прошлом, когда все было хорошо?

– ...Если дело у тебя мелочное – боги мелочь и заберут, что-то дорогое – собою расплатишься. Как захочешь, так и получишь. А еще в Беловодице странный сад стоит, вроде яблони как яблони...

– За чем же дело стало? – растерянно пробормотала.

– Жилок маловато осталось, – улыбнулся старик. – Тот сад будет последнее, что дадут мне боги. Свои жилы порву и сыновние не пожалею.

– Уверен, что дадут боги?

– А из меня упрямство полезет, – в темноте белоснежно блеснули Потыковы зубы в щели между бородой и усами.

Из него упрямство полезет. И старик все равно получит то, что хочет. Хотят все, а получает лишь он.

– А ты думаешь, отчего люди стареют и умирают? – усмехнулся Потык. – Было бы иначе, живи человек и живи. Вечно молодой, красивый и здоровый. А только ведет нас что-то. Лезем куда-то, чего-то хотим, и пока желаемое получишь – сто потов сойдет, собою на пути разбросайся.

– Так чего же я сижу? – Из меня дух попер, захотелось убежать на край света и отыскать нечто, что вернет Сивого в жизнь. – Чего же я сижу? Мне бежать нужно.

– Сиди уж, – Потык за руку усадил меня обратно. – Куда тебя понесло?

– Я должна... мне же нужно...

– На край света бежишь, а за чем – сама не знаешь, – буркнул старик. – Жар-птицу думаешь добыть и сменять на здоровье для порубленного...

– Да!

– Утро вечера мудренее. Ты меня послушай.

Все во мне рвалось наружу, дурных сил столько обнаружилось – Полоречицкое поле от камней навсегда освободить. Но я послушно замерла: если старик просит...

– Что взамен жар-птицы предложишь?

– Себя!

– Дура девка! Не всякий такую цену примет. А как ему жить потом?

– Что дура – верно. Из-за меня порубили. Удавить бы меня, да никто не берет. Никто не пожалеет. Может, Тишя спросить?

– Хватит уж! Глупостей наделал на всю оставшуюся жизнь. Ни к чему еще одна. Как это случилось?

Я коротко рассказала дела восьмидневной давности. Утаила самую малость. Про Вылега никому никогда не расскажу. Со стыда сгорю. Так мне и надо.

– На этом поле, говоришь? Восемь дней назад?

– Еще тризный пепел ветром не развеяло. По ту сторону дороги. Завтра девятый день.

Потык молчал какое-то время.

– Гляди под ноги, девка. Пройдешь мимо счастья, не заметишь.

– Что такое? И чего же я не углядела?

– На край света хочешь бежать, а того не замечаешь, что совсем рядом жар-птица, только руку протяни. Тебе есть что предложить богам. Глядишь, понравится Ратнику подарок.

Есть что предложить? Как так?

– Да и мне польза будет.

– Мудрено говоришь. Ничего не понимаю.

– Иногда сам себя не понимаю. Но говорю дело. Утром скажу. На рассвете...

Уснула как дитя. Может быть, бражкой нагнало сон, ведь дно кувшина мы с Потыком все же нашли, а может быть, надежда прикрыла крылом, и в кои-то веки уснула с верой в лучшее. Что еще старик придумал?

Как будто не ложилась. Кто-то осторожно потряс меня за плечо, и я мигом поднеслась на ноги, ухватившись за меч.

– Тихо, Вернушка, это я, Потык. Вставай, время пришло. Рассвет скоро.

У входа в шалаш стояли двое. Старик хмур и собран, Тишай заспан и весьма помят. Заплыли оба глаза, на скулах синяки встанут. Зевают и ерошит волосы.

– За мной.

Потык направился по ту сторону дороги, на тризница. Ветер мало-помалу разносил пепел по округе, но выжженная земля еще ясно чернела среди зеленой травы.

– Что удумал, старик? Самое время сказать.

Потык подошел к тризницам и поклонился.

– Сегодня истекает девятый день. Закрывается небесная дверь за ушедшими в дружину Ратника.

Ну да, сегодня девятый день. Оттого мне и снились Приуддер и остальные вои, павшие под мечом Безрода. Но что хочет сказать старик?

– Сама не знаешь, а ведь у тебя есть для Ратника самое дорогое, что только можно предложить.

– У меня?

– Балда! – Старик укоризненно покачал головой. – Жизнь! Сохраненная жизнь!

Чья? Я не понимала и мотала головой.

– Его! – Старик показал на Тишай. – Проси у Ратника чего хочешь.

Вчера я спасла человеку жизнь тем, что не убила, хотя могла. И эту жизнь вправе преподнести Ратнику. Но человек, посвященный Ратнику, больше не свернет с этого пути! Старик хоть понимает это? Тишай навсегда останется человеком Ратника, человеком боя и меча!

– Не смотри на меня так. Все понимаю. Так будет лучше для всех. Скажешь, жизнь пахаря слаще и безопасней жизни воя? Вчера мало не убили из-за этой простоты, а ведь мирное время, не война! Вот и не знаешь, где найдешь, где потеряешь! В дружине Тишайке самое место.

Старик наклонился и прошептал мне в самое ухо:

– Об одном лишь Ратника попроси – чтобы всегда при лошадях был. И пусть грех минует. Нехорошо это.

Я молча смотрела на Потыка, и казалось, что лицо старика плывет и мутнеет, будто мне глаза слезами заволакивает. А в тех чертах проступает совсем другой лик, и голова кружится, едва не падаю с ног.

– Рассвет скоро, Вернушка. Пора.

Мы стали в самые тризница, Тишай в одно, я – в другое. Пока открыты двери, через которые девять дней назад пятнадцать воев ушли в чертог Ратника, но с рассветом закроются. И последнее, что ворвется в покои повелителя воев через эти двери, – моя горячая просьба.

– Ратник, вчера я сохранила жизнь, удержалась от смертоубийства. Эту жизнь отдаю тебе. Услышь просьбу, верни Безрода, не забирай его у меня. Ты все знаешь без слов, и если не Сивый, кто иной достоин жить на белом свете?

На востоке полыхнула багровая зарница, налетел порыв ветра, и пепел, что еще оставался на тризницах, столбом взметнуло вокруг нас. Я затаила дыхание, зажмурилась, но с места не отшагнула. Так и стояла, пока вокруг носился вихрь, а когда стихло и повисла тишина, едва не упала – неимоверно хотелось дышать. Чуть поодаль, широко разевая рот, будто рыба на льду, глотал воздух Тишай, и... я его не узнала. Чернявые волосы побило пеплом, пепел остался на

рубахе и на лице. Наверное, выгляжу так же. Младший Потыкович даже слова не отмолвил против воли отца. Сам понял, что так нужно, или братья вразумили?

Пыльные столбы ушли в сторону леса, а там и вовсе пропали, разбились о деревья. И снова все стихло. Я оглянулась на старика. Принял? Это все?

– Думаю, все. – Старик задумчиво смотрел туда, где стена леса разметала пепел и пыль.

– Принял?

– Не знаю, милая, не знаю. Одно могу сказать – не услышать не мог. Только время и покажет.

Потык обстучал сына, сбивая пыль. Косил на меня и усмехался.

– Грома с молниями ждешь? Напрасно. Если и случится, так тихо и не заметно, что сама не сразу узнаешь.

Подошел ко мне, помог отряхнуться, улыбнулся.

– Думаешь, отчего ворожцы смертным боем бьют за ворожбу без разрешения? Что будет, если всякому дураку захочется чудес? Начнет полоумный жизнью разбрасываться, лишь бы увидеть небо в огурцах. Бойся своих желаний! Иногда боги наказывают не тем, что отворачиваются, – тем, что исполняют желание!

– Но...

– Но иногда можно. – Потык постучал меня пальцем по лбу и лукаво сощурился. – А про небо в огурцах помни!

– Значит, яблоневый сад в Беловодице?

– Ага...

Рассвело. Потык и сыновья быстро собрались, впрягли в телегу лошадей, собрали полог, вдоль бортов уложили на место опорные жерди. Уходя к ручью стирать полосы для перевязки, Гарька долго на меня смотрела, хитро щуря глазищи. Ночью что-то слышала, да не понимает, что именно. Как будто шумели, как будто кричали. И нет бы мне отвернуться... Язык ей показала.

А когда Потыковичи с нами распрощались и совсем было повернули на дорогу, с той стороны, откуда все мы пришли, раздался дробный топот. Лошади, много лошадей. Впереди облака пыли, что густо клубилось из-под копыт, шел десяток верховых. По всему видать, дружинные. Девять седлами, десятый... а не было десятого. Лошадь шла в поводу и упиралась изо всех сил.

– Проклятая скотина! – взревел дружинный и огрел строптивицу плетью между ушами.

– А ведь ладная кобылка! – приложив руки к глазам, крикнул Тишай. – За что же так?

Ход остановился. На нас воззрились девять пар глаз, колючие, настороженные, руки на мечях.

– Впервые такое вижу! Все лошади как лошади, эта же... Уж сколько их в поводу перевел, сосчитать не возьмусь, тут же...

Тишай, что-то насвистывая, медленно двинулся к дружинным. Не доходя шага, остановился и дал кобыле себя обнюхать. Странно, однако, та не проявила беспокойства. Дружинные переглянулись. Чудеса, да и только. Потыкович ласково огладил вороную и чмокнул в шею. Кобыла всхрапнула и потянула носом над головой Тишая.

– Человечий пепел чувствует, – напряженно шепнул мне старик.

– Глазам не верю. – Дружинный десятник сбил шапку на затылок и ожесточенно сплюнул. – Как Тихоню зарубили, Ладушка никого к себе не подпустила, даже нас держала за чужаков. Чудеса, да и только!

– Тихоня звали? – Старик задумчиво огладил бороду, и мы многозначительно переглянулись.

Старший какое-то время молча смотрел на Тишя, потом, развернув лошадь, подъехал ближе.

– Ловко у тебя получилось. Кто такой?

– Пахарь.

– А своим ли ты делом занят, пахарь? – Десятник, оглядев Потыковича с головы до ног, отчего-то кивнул сам себе.

И будто гром среди ясного неба прозвучало: «Нет, не своим!» Я хотела громов и молний? Будь любезна. Потык выступил вперед и еще раз отчетливо произнес: «Нет, не своим!» Все покосились на старика с недоумением, и только мы с непутевым лошадиником знали, что к чему. Потык о чем-то пошептался с предводителем дружины и вернулся к сыновьям. Трижды поцеловал Тишя и даже слезу украдкой смахнул. Поняли все и остальные. Братья тепло попрощались, и только пыль встала, когда старшие хлопали младшенького по спине. Старик ничего мне не сказал, только улыбнулся в бороду. И, по-моему, одну слезу смахнуть забыл, на солнце блеснула...

Я долго смотрела вслед верховым дружинной десятки – с Тишаем она вновь стала полноценной – и обозу Потыковичей, что снялись друг за другом. Ушел в дружину Ратника Тихоня, на его место заступил Тишя... И если это просто случайность, готова съесть весь пепел, что остался на тризнищах.

Из палатки выбрался Тычок. Морщась и кривясь, поплевал на какую-то красную тряпку, проглядел на солнце, в сомнении покачал головой и бросил тут же. Я узнала тряпку. Схватила и прижала к груди. Унесла Безродову рубаху к себе в шалаш и долго бездумно пялилась. Чего толку штопки считать? Носить ее он все равно большие не сможет. Вся расплзается. И тут меня словно осенило! Рубаха! Сивому нужна новая рубаха! Встанет человек, а ему надеть нечего! Скорее молнии выпрыгнула наружу, в два скачка подлетела к палатке и сунула внутрь голову.

– Выдь на улицу, дело есть!

Тычок пожевал губу, однако вышел. Огляделся и напустился на меня:

– Чего шумишь?! Вот Гарька вернется, оба по шее полу...

– Давай деньги!

– Какие деньги?

– Хороши мы с тобой! Человек проснется, встанет, а ему надеть нечего! Не рубаха, а дырка на дырке! Поеду в город, новую возьму.

Старик смотрел на меня как на полоумную. Дескать, Безроду бы ворожца, а она про новую рубаху толкует!

– Давай, давай. Он встанет, обязательно встанет. Сегодня кончился девятый день.

Егозливый старик огляделся, ужом порскнул в палатку и сунул мне в руку деньги.

– Красную! – только и услышала я.

На скаку оглянулась и крикнула:

– Обязательно красную!

Показала нашей коровушке язык – она как раз возвращалась после очередной постирушки, – соорудила рожу и, больше не оглядываясь, припала к шее Губчика.

Глава 2 ЛЮДОЕДЫ

Верна уехала, и Тычок вздохнул. Слава за это богам, уж больно глаза она Гарьке намозолила, того и гляди, случится еще одно смертоубийство. Старику и одного болящего вышло много, еще неизвестно, кто помрет раньше. Ох, девка, учудила, ох учудила!

Неопределимых годов мужичок почесал загривок. А ведь правду сказала, девятый день закончился. Дадут боги, хоть вздохнет Безрод громче обычного. Думал балагур, жизнь отлетает, когда рухнул Сивый под ударом Верны. Да так и было, оба упали. Гарьку уговорил никому об этом не рассказывать, но отпустил сознание едва не раньше Безрода. Испугался. Столько боли по полю разлили, что замутило Тычка. За какие прегрешения Сивому такое выпало? Когда же дадут человеку пожить спокойно?

– Уже вернулась, Гарюшка? Быстро ты!

– Крови меньше, потому и быстро. А где эта... неужели уехала? Наконец-то!

– Нет, милая, Верна в Срединник умчалась. Говорит, встанет человек, осмотрится, а надеть и нечего. Рубаха под мечами вся расползлась. Дырка на дырке. А зачем дырки латать? Правда ведь? Нужна новая рубаха, как пить дать нужна!

– Не о рубахе нужно думать. Лучше бы ворожца привела, а еще лучше сменяла бы жизнь на жизнь! Одним хорошим человеком прибыло бы, одной гадиной стало меньше!

– Так прибудет еще! Девятый день кончился, Гарюшка!

– Жаль, ворожца притащить нельзя. Плюнула бы на все и приволокла из города! Стал бы упираться – опоила, мешок на голову и бросила, как скотину, поперек седла!

– Сама ведь знаешь, Безродушка не велел. Сказал, дескать, все оставь как есть. Выживу – выживу, а нет – так захотели боги. Мол, это и будет самое верное знамение.

– Он ведь только нам запретил, а ей нет!

– Верна тоже девка не глупая. Видела небось, что мы ворожца не привели, вот и подумала, что для того есть особая причина. Соображать надо!

– Как ты все за нее объяснил!

– Так разве Безродушка выбрал бы глупую?

Гарька промолчала, отошла, присела у Безрода. Ей, бедняге, тоже нелегко приходится. Неопределимых годов мужичок, чего только в жизни не видел, а тут растерялся. Ни слова Гарька не говорит, что у нее внутри – поди пойми. Чего за Сивым таскается, чего хочет, на что надеется? И самое главное – любит или нет? Баба все же. За то время, что вместе бредут, ни словом не обмолвилась. Кремень!

За полдень Тычок погнал Гарьку спать, сам сел у Безрода. Сидел и вспоминал. Жизнь свою безрадостную. Сына, жену, безвременно погибших. Что видел за долгие годы? Хорошего – только с воробьиный носишко. Горемыка, недотыкомка, везде как кость в горле. Сделай то, принеси это, пошел вон, старая развалина. Вот тебе, Тычок, и ласка! А появился Безрод, и ровно лето для старика началось. Тепло стало, будто согрелся. Уж как в Сторожище ни пугали... дескать, взгляд у Сивого мерзлый, значит – недобрый. Убьет и как звать не спросит. Оставит под кустом и даже не погребет как положено. А сколько раз отвечал злым языкам, дескать, гол как сокол, что с нищего взять? Были бы полные сундуки золота – еще понятно, а так... И кто оказался прав? Видать, сами боги толкнули на ту дорогу, где Еська-дурень расталкивал людей, не глядя под ноги...

С мысли сбил какой-то посторонний шум. Старик выглянул и обмер. Замечтался, не заметил, как стемнело. А по ту сторону поляны кто-то развел костер. Вот ведь нелегкая принесла! Безроду теперь покоя бы, нет же! Ходят и ходят! Тычок долго смотрел на костер, ждал, что новый сосед придет знакомиться да пустые руки показывать в знак добрых намерений, –

не дождался. Ночевщик все ходил вокруг огня, круги нарезал. В сумерках было плохо видно, старик так и не разглядел, кого судьба привела. Только и увидел длинную черную одежду до самых пят. Вроде плащ, а может, и не плащ.

...Поразили глаза Безрода. Холодные, синие. Словно в речной полынье небо отразилось. Будто глядишь в студеную воду, и самому холодно становится. А Еська-дуралей потому осторожности не проявил, что вообще на людей не смотрел. Пялился поверх голов и никого не замечал. Всех считал ниже себя. За то и получил. Здрав Молостевич, долгих лет ему жизни, раньше всех разглядел в Безроде крутой нрав и остальных предостерег. Те четверо недоумков его не слышали, за что и поплатились. И глаз Безродовых не видели, потому что ночью напали, а ведь всем известно – гляди человеку в глаза! Не удосужились поинтересоваться, кого убить придется? Ну да боги им судьи. В Сторожище гудели, будто нечестивого свидетеля Безрод порешил прямо на судилище, на глазах князя и дружинных. Своими глазами Тычок не видел, но зря гудеть не стали бы. Так и не спросил, врут или правда?..

Что за напасть? Опять кого-то принесло? Так и есть, был один костер, стало два. Размечтался старый хрыч, перестал держать ухо востро. Новые соседи встали по разным сторонам поляны. Вроде и дело обычное, сколько на этой поляне народу переночевало, а только неспокойно стало Тычку. Заполучил в руки что-то стоящее и дрожал над ним, боялся удачу спугнуть. Береженого боги берегут. И Верна куда-то запропала. С нею всяко спокойнее. Как-никак острый меч и пара крепких рук. Лишними не будут.

Когда совсем стемнело, Тычок услышал чужие крадкие шаги у самой палатки. Осторожно выглянул. Как будто ходит кто-то вокруг, травой шуршит.

– Никак в гости пожаловал, добрый человек? Чего же не объявишься? Травой в темноте шуршишь...

Спугнул. Экий нерешительный. Должно быть, страшно одному ночью, вот и решил пососедиться, а как подошел – испугался. Бывает. Старик с досады плюнул. Оборвали. Так сладко мечтать...

А когда Безрод заступился перед дружинными на княжьем дворе, Тычку словно под дых заехало. Так давно не чувствовал ничего и близко похожего, дыхание перехватило. Ком в горле встал. Думал, так и жизнь окончится, в коровьем хлеву, в навозе, на сенце. Лишь бы Сивый на ноги поднялся. Вместе выстроят дом. Большой и крепкий. Хлевок рядом поставят, для начала заведут пару-тройку коровенок. Бурюю назовут Буренка, пегую – Пеструшка, черную – Ночка. Тычок сам доить станет, никому не доверит. А когда пойдут у Безродушки дети, на коленях станет катать, свистульки нарежет, а байки рассказывать остережется, пусть подрастут...

– Экие соседи у нас робкие! Никак в гости не идут. Видать, придется самому идти.

Сбили с мысли. Ходят вокруг да около, заглянуть на огонек не решаются. Ничего, еще поглядим, кто такие. Кувшин браги, что купил у мимоезжего купчины, Тычок нашел в самом углу палатки, там, где и положил. Пригладил вихры, оправил рубаху и пошел. Спит Гарька, ну и пусть спит. Умаялась так, что даже во сне ничего не видит. Старик подошел к самому костру и замер. Сидит человек, косо таращится, почему косо – одного глаза недостает. Потерял где-то. Унесло страшным ударом, рубец толщиной с палец лежит на лице и пугает. Грива нечесана, рубаха давно не стирается, черный плащ, по всему видать, с чужого плеча, длинный, землю обметает. Сосед что-то жевал, молча покосился, подвинулся на бревне, дескать, садись.

– Доброго здоровья хозяевам!

– И вам не хворать.

Голосище грубый, трубный.

– У меня и бражка с собой. Найдем дно кувшина?

– Бражка? – переспросил незнакомец. – Дело стоящее. Да вот беда, не показана мне бражка. Во хмелю буен становлюсь. Опасен.

И как зыркнет единственным глазом! У старика аж душа подседа, съежилась.

– Кто же будешь, добрый человек?

Долго молчал, жевал. И с ножом управлялся ловко, будто шестой палец на руке, а не нож. Глодал копченый окорок и лишь голую кость оставлял после себя.

– Человек как человек, – наконец ответил одноглазый. – Голова, две руки, две ноги. Все как у людей, только глаз один.

– Бывает. Иного так разукрасит по жизни – удивляешься, как он вообще живет. Чем промышляешь? На купца не похож и вроде не пахарь.

Опять помолчал.

– Да разное.

Тычок был готов спорить на собственную голову – дружинный. Бывший дружинный. Шрам на лице – явно след меча, и ножом крутит ровно собственным пальцем. Не так чтобы здоров, но очень жилист. Настоящий дружинный был бы одет получше, этот же... неухожен, неустроен. Вон волосища в пыли. Ровно бродяга мхом покрылся. Хотя сапоги на нем добротные...

– Сапоги сам тачал. – Одноглазый будто мысли услышал, усмехнулся. – Оленья шкура. Сушил, дубил, на оленью жилу сшил.

Пить не стал, молчит, ровно сыч. Станный он. Хотя... удивляться ли тому, что от людей прячется?

– Сам кто такой? – В единственном глазу незнакомца красными сполохами жили языки костра.

– Человек как человек. – Старик развел руками. – Голова, две руки, две ноги. Все как у людей, только пожил больше.

– Один у костра? – Бродяга кивнул на палатку. Наверное, не проснулась еще Гарька.

– Нет. – Что-то перестал Тычку нравиться одноглазый. – Не один.

– Кто с тобой?

– Кто со мной – все мои.

Ишь ты, даже не назвался. Имя скрывает или обычая не знает? Что не знает – не похоже, значит, не хочет называться.

– Лошадей, гляжу, у вас три... – И зычно расколол кость на зубах.

– Сколько надо, столько и есть. Твою конягу что-то не вижу. Пастись отпустил?

Неприятный получается разговор. Не о том должны говорить добрые соседи. За каждым словом одноглазого будто потаенный смысл прячется.

– Ага, отпустил, – криво ощерился бродяга. – Только дорогу вороной забыл. Все никак не вернется.

Тычок засобирался восвояси. Ох и темен соседушка!

– Доброй ночи хозяевам оставаться. А кто на том конце поляны встал, не знаешь?

Одноглазый с недобрим прищуром покосился на костер, что распалил второй сосед, и мрачно покрутил головой. Не знает. Значит, самое время узнать. Старик подхватил непечатый кувшин с брагой и положил стопы ко второму костру, не сказать хуже – сбежал. Неприятное знакомство, да и знакомство ли? Друг другу не назвались, только и разговоров было, сколько человек в палатке и чьи лошади...

– Кхе-кхе, дома ли хозяева?

Костер как костер, горит себе, дрова пожирает, только никого возле огня Тычок не нашел. Куда делся? Может быть, по нужде отошел? Неопределимых годов мужичок стоял, ждал и оглядывался. Вдалеке видел одноглазого. Тот сидел у своего костра, глодал кость. И вдруг старик заметил странное – из-за палатки кто-то вышел, подходя, замедлил шаг и неловко повел плечами. «Выходит, пока я точил с одноглазым лясы, второй сосед кругами вокруг палатки ходил. Только что-то Гарьки не слышно. Должно быть, спит. Выходит, не познакомились?»

– Незванный гость на огонек. Не прогонят ли хозяева? Наведался, вот...

Хозяин ступил в круг света, и старик запнулся. Одноногий. Глядит исподлобья, и Тычку совсем не понравился его недобрый взгляд.

– Чего надо?

– Соседи как-никак, – пробормотал егоз. – Встали рядом, нужно знакомиться.

– Оттуда? – Одноногий указал костылем на палатку.

– Оттуда.

Подумал, подумал и кивнул.

– Садись.

Старик поежился. Боги, боженьки, да откуда у обоих такие страшные глаза, три на двоих? Как будто родные братья, хоть не похожи друг на друга. Одноногий здоров, будто медведь, зарос пепельно-грязной бородой до самых глаз, штаны, некогда синие, теперь серо-буро-малиновые, и по всей рубахе шли застарелые пятна, в которых Тычок мигом признал кровь.

– Что в кувшине?

– Бражка.

– Хорошо. Мне отдать нечем, так и знай.

Здоровенной лапищей одноногий выхватил кувшин прямо из рук балагура, распечатал и выел содержимое в один присест. Тычок лишь несколько раз успел глазами хлопнуть.

– А звать как? Скажет или нет?

– Зови Одноногий. Хорошая бражка.

– Куда держишь путь? Не вижу лошади, стало быть, пешком бредешь?

– Пешком. – Детина потряс костылем и утробно расхохотался. – Но дадут боги, скоро обзаведусь лошадью. Мне гнедые по нраву, а тебе?

– Тоже.

Не понравился Тычку взгляд одноногого, который тот метнул в темноту, когда о лошадях говорил. Случайно или нет, как раз в том месте, куда покосился теперешний собеседник, стояли кони. Странные соседи.

– А чем хлеб насущный добываешь?

– Руками, – усмехнулся одноногий и потряс кувшином над разверстой глоткой. Ни капли не упало.

Понимай как знаешь. Руками... остряк. Хотя чего тут понимать. Что судьба нанесет, тем и жив. Пятна крови на рубахе о многом говорят.

– А кто там в палатке?

– Много будешь знать – скоро состаришься. И вообще заболтался я.

– Сиди. – Пронизывающий взгляд ровно к месту пригвоздил. Ноги Тычка растряслись, и в пузе холод образовался. Сидит одноногий и зыркает гляделками. Вежлив, нечего сказать.

– А тот, перевязанный, кто таков?

– Увидел?

– Мимо случайно проходил.

– А тебе что за интерес?

– Отвечай, если спрашиваю.

Больно народец любопытный пошел. Странные они.

– Человек как человек, две руки, две ноги, все как у людей, только порублен малость.

– Насчет малости не показалось, – глухо бросил одноногий. – Того и гляди, помрет.

– А ты не гляди, может, встанет. Куда идешь? В город? В Срединник?

– Ага, за тем, за этим.

И в этот миг на поляну вышел некто третий. Прошел сквозь кусты, только ветви зашуршали. Тычку ровно шило в зад воткнули. Подскочил и унесся восвояси. В палатку. Там разбудил Гарьку и наказал секиру держать наготове.

– Что ты мелешь? Жуть приснилась?

– Лучше бы приснилась! Непонятное вокруг творится. На поляну калеки стекаются, ровно кто-то подманил. Ты бы спросила, что им надо!

– И что им надо?

– Не знаю! Только речи странные ведут. Сколько нас, а кто это порубленный да замотанный в палатке лежит, а лошади чьи? Какое им дело?

Гарька без слов подтянула к себе секиру и молча выглянула наружу.

– Костры горят. Три.

– Неспроста это. Мне не нравится.

Самое время незаметно исчезнуть, но куда податься с неподвижным Безродом? Только и остается сидеть и глядеть в оба глаза. Лошадей Гарька привязала у самой палатки, чтобы оставались на виду. По счету старика давно перевалило за полночь, когда по всей поляне, словно огненные цветы, распустились костры и пошло странное движение. Бродяги друг с другом не мешались, как подходили, так и вставали, но кто-то из них подошел слишком близко к одному, и тому это не понравилось. Звук, с которым он огрел какого-то бедолагу, просочился даже в палатку.

– Началось! – прошептала Гарька. – Один уж точно не жилец. После такого не живут.

– И костыль у него толщиной с мою ногу!

– Было бы хуже, если с мою, – усмехнулась Гарька.

– Тссс! Слышишь?

Ругались. Орала друг на друга, спорили о какой-то добыче.

– Кричат про какое-то сердце.

– А по-моему, про глаза.

– А теперь про ноги.

Потом сделалось так тихо, как будто нечто свыше разом закрыло бродягам рты, и стал слышен единственный голос, спутать который с другим Тычок не смог бы. Говорил одноглазый.

– Молчать, с-собаки! Сбродом были, сбродом и помрете! Двоих не стало, а ведь ничего еще не началось. Кроме меня дружинные есть?

– Есть.

– Выходи.

Старик с Гарькой подглядывали в оба глаза, благо от множества костров на поляне стало светло как днем. В середину, к одноглазому вышел однорукий и встал у тела, что лежало на спине, широко разбросав руки. Одноглазый вытирал нож пучком травы.

– Был бы я дурак, так спросил всех и каждого, чего сюда пришли. Но и так понятно. Слушайте меня внимательно – если хоть одна сволочь подойдет к палатке ближе чем на пять шагов без разрешения, ляжет рядом.

– И кто же разрешение даст? – проревел кто-то. – Ты, что ли? Не много взял на себя, косой?

Этот голос Тычок тоже узнал. Одноногий.

– Именно я. Кто желает оспорить, выходи на середину.

Дружинные, ровно сговорились, встали друг к другу спиной, хоть и виделись впервые. Оба натасканы, словно собаки, знают, что и когда делать. Выучку не вдруг и пропьешь.

– А теперь выходите сюда по одному, начиная с того края!

Одноглазый показал в сторону, правую от себя. Кто-то из бродяг обошел костер и двинулся к дружинным, что настороженно косили по сторонам. Даром, что один без глаза, а другой без руки, покромсали бы на обрезки в два ножа и как звать не спросили.

Друг за другом бродяги выходили на середину, и каждому одноглазый находил место. Кого отправлял в одну сторону, кого в другую и, в конце концов, пропустил всех через свой единственный глаз. А когда странное действие закончилось, громко возвестил:

– Слишком вас много, дети греха. Кто-то лишний. Не всем сегодня повезет.

Две толпы взирали друг на друга с одинаковой злобой. Только чудо помешало оборванцам ринуться друг на друга. Старик с Гарькой не понимали, в чем дело, лишь чувствовали – происходит нечто недоброе. Представляли себя ровно в осаде, и все происходящее имело дурной запах.

– Четверо одноруких, четверо одноногих, трое без уха, трое без носа, пятеро косых, четверо беззубых, пятеро беспальных, да нас двое, – перечислил одноглазый. – Слишком, слишком много.

– Что все это значит? – прошептала Гарька. – Откуда столько убогих и калек?

– Не знаю. – Тычок сосчитал всех. Тридцать отвратительных рож, одна другой страшнее.

А дальше произошло нечто переполнившее старика и Гарьку неподдельным ужасом. По знаку дружинного на свет вышли двое одноногих, и случилось настоящее смертоубийство. Угрюмый знакомец Тычка – похожий на медведя бородач – и еще один пройдоха, чьи бегающие глазки были заметны даже в скупом кострищном пламени, встали друг против друга. Истинную причину всего происходящего словно туманная пелена подернула. Неопределимых годов мужичок не понимал, отчего вокруг столько чужих и недобрых людей, почему они сцепились, ровно голодные собаки, для чего считались, какие у кого убожества.

Угрюмый одноногий просто и без хитрых уловок огрел противника костылем, и тому не хватило верткости и сноровки, чтобы увернуться. Откуда им взяться у одноногого калеки? Поверженного «медведь» прикончил уже на земле, видно было плохо, но по тому, как ходили плечи – просто свернул бедолаге шею.

Прочее выглядело не менее тошнотворно. Когда дерутся убогие и калеки, ничего хорошего не жди. Тычок пожил на свете, однако никогда не видел, чтобы одноногий насмерть дрался с одноногим же, чтобы однорукий выкручивал другому безрукому единственную конечность. И леший бы с ними, не приходи все это вокруг больного Безрода. Старик задавался единственным вопросом: «А за каким нечистым они сюда пришли?» Все до жути напоминало драку голодных стервятников у тела еще живой, но умирающей жертвы.

– Дерутся насмерть, – буркнула Гарька. – Не нравится мне это.

– Как будто за добычу.

Вот только спросить боязно: «Кто добыча?» Бились действительно насмерть. Ни один поверженный не встал, не отполз. И становилось калек все меньше, пока не осталось пятнадцать.

А когда вперед выступил одноглазый дружинный и направился к палатке, Тычок и Гарька схватили кто что нашел. Гарька – секиру, старик – меч Безрода.

– Живы-здоровы соседи?

Не доходя нескольких шагов, косой остановился и присел на траву у самого кострища. Подбросил дров и разворошил угли. Старик переглянулся с Гарькой и счел за лучшее выйти наружу. Как был, с мечом.

– Да ничего себе. А вот ты как будто не очень?

Одноглазый дрался последним. Уделал соперника в пух и перья, но получил случайный удар ножом в шею.

– Пустое, – махнул рукой и громогласно рассмеялся. – Поди, голову ломаете, что происходит?

– Не без того. Уж ты раскрыл бы глаза. Как будто невзлюбили друг друга? Только не пойдем, за что?

– А чего тут не понять? – Одноглазый забавлялся – бросал нож в землю. Нечего сказать, искусник. И с одного пальца, и с двух, и с подбросом, и с переворотом. – Пятеро одноглазых... это слишком.

– Вижу, теперь осталось двое. А чем двое одноглазых лучше? Впятером как будто веселей.

– А ты, старый, приглядишься. У меня нет правого глаза, у Кудряша – левого. У кого-то правого уха, у кого-то левого.

– Бывает, – медленно пробормотал Тычок. Начал догадываться, и так холодно ему стало, ровно в прорубь окунули. – Как только жизнь не бьет. На иного посмотришь, хоть сказки рассказывай!

– А хочешь, сказку расскажу? – В пламени костра снежно блеснули здоровенные зубы. Будто щель в черной бороде обнаружилась, и оттуда сверкнуло белым-бело.

– А давай! – Старик азартно поскреб затылок и уселся перед огнем. Лишь бы время потянуть.

– Жил-был на свете дружинный. Не хороший, не плохой, не лучше прочих, не хуже. Во многих схватках уцелел, врагов положил во славу князя видимо-невидимо. И в одной жаркой рубке лишился глаза. Мало того что глаза лишился, так и в плен попал, будучи беспмятным. Что вытерпел, про то лишь боги знают, однако с первой же возможностью бежал. Долго или коротко брел на отчизну, но, в конце концов, добрел. И что же? Его уже похоронили. Жена забыла, продала хозяйство, вышла замуж за другого, подался к князю – но и тут попал в немилость. Вскоре после той злополучной битвы князь попал в засаду. Подумали, что кто-то продал. А кто продал? Ясное дело тот, кто в плену был! Дескать, пытали, выдал. Из огня да в полымя! Бросили в темницу, да слава богам, уже знал, как бежать. Вот и оказался на пустынной дороге, без дома, без князя, без жены, с одним только ножом. Но друг сердешный впроголодь не оставил...

Тычок покосился на руки собеседника, одноглазый нож поглаживал да ласково ему улыбался. Улыбался ножу? Наверное, свихнулся!

– ...Месяца не прошло, как наш бравый дружинный, теперь уже бывший, выследил подлеца, что предал дружину. Ключник, сволота, на врага сработал! Тем же вечером на княжеском дворе нашли голову предателя, а к нечестивому языку оказался пришит кошель с золотом. Стало быть, не в деньгах счастье?

– Не в деньгах. – Тычок согласился и бросил острый взгляд за спину одноглазого. Калечные да увечные подвигались ближе и ближе. Скоро палатку в кольцо возьмут.

– С тех пор наш молодец исходил сотни дорог, не одну пару сапог истоптал, и вот вчера... Взглянул на старика и подмигнул.

– ...Повстречался ему незнакомец. Человек как человек, две руки, две ноги...

– ...одна голова, – упавшим голосом продолжил Тычок.

– Верно, одна голова... и говорит, что в дне ходу, на поляне, у большой дороги в город, стоит палатка, в ней трое. Двое простые люди, а вот третий весьма непрост. В нем сокрыта небывалая сила. Бесстрашен, как медведь, хитер, как волк, да вот беда, на грани издыхания. Порублен так, что не вдруг и выживет. И как будто раненый обласкан милостью богов. Смекаешь, куда клоню?

Старик молча кивнул. Не смог произнести ни слова, язык от ужаса отнялся.

– У каждого из тех, что стоят за моей спиной, похожая история. Кто-то бит князем, кто-то лихими людьми, но все страдают лучшей жизни и справедливости!

– Вы хотите...

– Мне много не надо. Всего лишь глаз. Если ваш порубленный обласкан милостью богов и так храбр, как о нем сказал давешний путник, пусть через этот глаз благосклонность богов снизойдет и на меня.

– Вы... вы хотите его съесть?

– Ага.

Это простецкое «ага» едва душу из Тычка не вынуло. Это все дружинные штучки! Для воев съесть поверженного врага некогда было в порядке вещей. Съел человека – тебе перешли его сила и храбрость.

– Вот еще! Придумали! Человек жив и на тот свет не собирается!

– Жив? Значит, свежее будет. Отдадите – уйдете с миром. Ему не помочь, и голодную толпу не остановить. – Одноглазый кивнул за спину. Кольцо страждущих калек неумолимо сжималось.

– В палатке лежит мой сын! Я не отдам его на растерзание! – У Тычка дрогнул голос. Старик чудом не поддался волне жути, что захлестнула от пяток до макушки.

– Это стадо хотело наброситься сразу, швырнуть все на волю случая, но я остановил. В свалке может случиться всякое. Не хватало только, чтобы ему чьим-нибудь острым коленом выдавили глаз!

– Весьма мудро, – еле слышно прошептал балагур.

– Кроме глаза возьму себе его сердце. – Одноглазый легонько ткнул себя в грудь. – И еще кое-что. Ну ты понимаешь. Бабы любят сильных и неумолимых.

И рассмеялся. Такого зловещего смеха Тычок давно не слышал. Только на Злобожьей скале было хуже. Костры бродяг мало-помалу прогорели, а старик, несмотря на испуг, не забывал подбрасывать дрова в свой.

– Мы должны поговорить. – Хитрован махнул в сторону палатки. – Я не один.

Одноглазый кивнул.

– Считаю до двадцати. Этого должно хватить.

Крепко стискивая рукоять меча, старик нырнул обратно в палатку. Мало не рухнул, ноги подкосились.

– Они хотят его съесть!

– Плохо дело, – прошептала Гарька. – С той стороны их костры выдохлись. Ничего не видно. Нужно прорываться с Безродом в лесок.

– Они окружили стан!

– Дружинных всего двое. Из них один безрукий. Пятеро просто здоровяки, остальные сволочи. Если утихомирить этих семерых...

– Двадцать! Время истекло!

– Самогон! Дай кувшин!

Гарька недоуменно оглянулась.

– Там, в углу! – шепнул Тычок и громко крикнул для тех, снаружи: – Да, видно, делать нечего, сынок! Твоя смерть будет быстрой! Ты принесешь людям пользу.

Гарька подала кувшин крепчайшего самогона, который даже старик с его луженой глоткой едва выдерживал. Неопределимых годов мужичок быстро его раскупорил, отплевался и набрал полный рот крепчайшего вина. Схватил кувшин, вышел и схватился за сердце, дескать, нелегко далось решение. Едва не споткнулся. Свободной рукой оперся о землю, и пальцы пришились аккуратно на смолистую дровину, что одним концом жарко полыхала в костре. Выпрямился, дернул факел из огня и что было сил выдохнул в одноглазого. Видел такое в Торжище Великом. Там скоморох подносил ко рту горящую лучину и выдыхал пламя. Давно хотел попробовать, да самогону жаль было. Вот попробовал. Как ни странно, получилось. Еще из кувшина поддал.

Бывший дружинный взвыл, как медведь, поднятый с лежки, и помимо разума все сделали руки. Быстрее молнии полоснул ножом впереди себя, и от смерти Тычка спасло лишь чудо, хотя совсем отделаться без крови не получилось – продырявил-таки, сволота, шкуру.

Старик едва на ногах держался. С этим увечным сбродом на поляну столько боли прихлопилось, что ему хватило бы самой малости. Когда же калеки учинили друг другу смертоубийство, подумал: «Вот и настала твоя кончина, Тычок. Чтобы отправить на тот свет, хватило

бы капельки крови, эти же столько кровищи слили...» А потом сам себе удивился. От боли мутило так, что едва наизнанку не выворачивало, но держался ведь! И как лишиться сознания, если за время беспмятства украдут самое светлое в жизни, самую жизнь? Сам себе удивлялся, но стоял.

Одноглазый ослеп окончательно – пылающей дровиной старик ткнул его в обожженное лицо и попал в глаз. Остальные просто озверели. Началась та самая свалка, которой боялся бывший дружинный. Тычок успел лишь замахнуться факелом. Что было сил размахнулся...

Старик еще возился с одноглазым, а Гарька вынеслась наружу и разнесла на куски чью-то голову, ровно глиняную утварь. Все слышала. Дружинных двое, почитай, уже один, но остальных слишком много. Не представляла, как Тычок сподобился вывести из боя одноглазого, потом спросит, если живы останутся, но складывалось все очень плохо. Сама себе не хотела признаться в том, что лишняя пара рук с мечом ох как не помешала бы. Все у этой красивой дуры не слава богам! Унесло же ее в город в самое неподходящее время!

Значит, на полтора десятка уродов приходятся двое. Этим всего-то нужно навалиться скопом, и никакая секира не поможет.

– Уводи Безрода в лес! Костры почти прогорели! Накройтесь чем-нибудь темным и ползком, ползком!..

Гарька просто зашвырнула Тычка в палатку. Некогда вошкаться. Еще загодя проделала в полотне дырищу, пока старик разбалтывал одноглазого. Раскроила череп безухой сволочи, что размахивал перед собой ножом, и нет бы задуматься, что все слишком легко получается... Сзади получила сильнейший удар и рухнула на колени, в ушах ровно дудки заиграли. Одноногий бугай огрел костью, будто под конское копыто попала. Ударил бы второй раз, поминай как звали. С разворота подрубила единственную ногу лохматого, и тот рухнул на Гарьку. Навалился на руку с секирой, тут и остальные погребли под собой. Друг друга отпихивали, чтобы ударить. Краем глаза заметила – палатку растерзали в клочья, выволокли Тычка и швырнули рядом.

– Не успели! – горько прошептал старик и, едва не теряя сознание, подмигнул. – Погоди, не буянь.

– Как не буянь? – прохрипела Гарька. – Безрода убьют!

– Делай, как сказал, – из последних сил прошептал Тычок под градом ударов. – Потом встанешь. Одноглазый убит, их слишком много, а сейчас начнется куча-мала...

Притворилась, будто потеряла сознание. Не нашла бы мысли более невыносимой, нежели та, в которой на твоих глазах добивают раненого. От подобного нутро сначала холодит, потом в жар бросает, потом снова холодит.

Убогие ровно обезумели. Отталкивая друг друга, бросились к палатке, вернее, к тому, что от нее осталось. И если Тычок говорил именно об этом, Гарька готова была снять шапку перед стариком. Прозорлив, егоз! Нет больше одноглазого, что сдерживал толпу калек и сумасшедших. Второй дружинный пытается что-то сделать, но безумцев уже не остановить. Разве только ножом, что однурукий по мере сил и делает.

У тела Безрода замешалась настоящая сутолока, бродяги отталкивали друг друга и зубами выгрызали себе место у тела. Уж так не желали подпустить один другого к вожделенному исцелению, что мало кому это удалось. За руки, за ноги оттаскивали в сторону и бились насмерть. За какое-то время, не большое, не маленькое, калек уполовинили сами себя, и, когда однурукий дружинный таки расчистил себе дорогу к цели, для Гарьки стало возможно встать. Удивительное дело, в такой свалке не должно было остаться ничего, палатку разнесли на куски, а к Безроду никто не прикоснулся. Каждым из бродяг овладела мысль: «Если возможно заполучить все вместо части, почему я должен делиться с другими?» Ездили друг другу по мордам, зубами грызлись. Тычок лежал и встать не мог. Человеку в здравом рассудке уви-

денное должно было внушить ужас, только не осталось на поляне почти никого в здравом рассудке, лишь девка да старик, да и те ополоумели. Восемь уродов – это не тридцать тех же ублюдков, с ножами и двумя дружинными. Пока был общий враг, единодушные убогих легко объяснялось. Теперь же, когда увечные занялись друг другом, Гарьке больше ничто не мешало. Ровно в полусне встала, и кто-то из калек так и не понял, что случилось. Без всякого зазрения совести, не окликав, била в спину, и так продолжалось до тех пор, пока не осталось пятеро.

– Что встали, убогие? – весело крикнула. – Не видать вам Безрода как своих грязных ушей!

– Обходи справа и слева, – только и шепнул однорукий дружинный. – Она осталась одна.

– Руки коротки! – рявкнула Гарька и рассмеялась. Было что-то нездоровое в этом смехе, но кто остался бы в здравии после того, что случилось? Ровно медведи передрались за кусок человечины. Истинно людоеды!

Знала бы, что упоминание о коротких руках так его разозлит... Будто рысь прыгнул вперед, Гарька только и прошептала: «Держись, дура, держись!» У дружинного не хватало руки, зато ногами наловчился так, что девка едва свои не протянула. Что ни говори, дружинный – везде дружинный. Сноровку и навык убивать с рукой не потеряешь. Увечный крепко заехал Гарьке по ребрам, да так, что выдохнула, а вдохнуть не смогла. Ножом увечный владел отменно, еще темнота играла бродяге на руку, на единственную руку. А Гарька все отходила от палатки и отходила. Старик тяжело вполз под обрушенный полог и через какое-то время выволок Безрода на подстилке.

– Чего оробели, недоделки? – Гарька махнула по сторонам, отгоняя бродяг, что решили зайти с боков.

– У нее не десять рук, и две из них я сейчас займу! – холодно прошипел однорукий и так завертел ножом, только звон пошел, когда лезвие клевало секиру.

Рано или поздно найдут со спины, и рук на самом деле не хватит, пока лишь удача и сумасшедшее чутье берегли «молотобойшу». Наугад лягнула ногой и попала, но чувствовала – скоро бродяги развернут удачу к себе, как базарную девку, и попользуются ею всласть. Одно только и грело – старик волок Безрода к лесу и оставалось им всего ничего.

– Добивайте! – рявкнул дружинный и сделал для этого все – поймал Гарьку на обманном движении и зарядил головой в лицо. – Я за стариком! Ее не отпускайте!

Ну вот и все. Тут же навалились четверо, и зловоние давно немых тел так шибануло в нос, что Гарька едва сознание не потеряла. Чуть не задохнулась от смрадного дыхания. Хорошо хоть не досыта ели, оставили немного свободы. Здоровица подтянула колени к груди и лягнула одного из убогих что было сил.

Беднягу аж в воздух поднесло. Еще бы. Почитай, калека вдвое меньше и легче. Перевернулась на четвереньки, забрала руки под себя, чтобы не вздумали ломать, и спрятала голову. Били страшно. От злобы за собственное убожество, от обиды на все и всех, облепили как волки медведя, едва зубами не рвали.

А потом вдруг все кончилось. Увечные опомнились, бросились в лес, как же, однорукий все себе захапает... Гарька, шатаясь, поднялась, впотьмах нащупала секиру и на трясках ногах пошла на шум. Происходило в той стороне и вовсе странное. Звенело железо, как будто сражались двое. Неужели у Тычка хватило умения и достало сил отразить нападение однорукого? Не поздно ли?

Нет, не поздно. Кто-то умело теснил людоеда и наконец из деревьев на открытое выступил человек, Гарька не видела кто.

– Только оставь на мгновение, тут же в беду вляпались.

– Ишь ты, явилась не запылилась. Нашла красную рубаху?

– Стоило ездить, если бы не нашла? Кто они такие?

– Некогда болтать, потом расскажу. Дел еще по горло!

– Что делать?

– То, что хорошо умеешь, – кончать недобитков! И нечего зубами клацать, зазнобушка! Всю правду сказала, слова лишнего не дала.

– Всех?

– Всех. Наших тут нет. Кого найдешь, бей вусмерть.

Четверо, бросившие Гарьку, еще ничего не поняли, с потерей надежды не смирились. Нашли какое-то дубье, кто-то вооружился ножом, но Верна и Гарька, двурукие и двуногие, быстро их успокоили. Когда все закончилось, осели наземь. Сил просто не осталось. Подтащивало. Хотелось все забыть и больше никогда не вспоминать, но не получится – шрамы не дадут. Гарьке повезло. Спасло то, что убогие оказались не в теле, и сил им просто не хватило. Но по разу обе схлопотали. Все-таки баба мужику не противник. Однорукий едва на тот свет не отправил «молотобойшу». Нос кровавыми соплями хлопает, к боку словно раскаленным железом приложились – болит и ноет, плечо продырявили. Верна в глаз получила. В общем, в стороне не остался никто. Будь калеки хоть малость поздоровее, хоть на четвертушку, легли бы все трое в чистом поле. Боги хранили Безрода.

– Всех добила, – мрачно буркнула Верна. – Да что стряслось, в конце концов!

Гарьке не хотелось ворочать языком, тем более с этой... Безрод в безопасности, Тычок жив, и ладно. Только ведь не отстанет, а драться сил уже нет.

– Как начало темнеть, стал на поляну сходить калечный и увечный народ. Сначала двое, потом еще двое, а потом их стало много. Развели костры и притихли. Ровно темноты ждали.

– Чего хотели?

– На чужом горбу в счастье въехать, – буркнула Гарька. – Кто-то надоумил убогих, будто на поляне у дороги в город стоит палатка, в ней лежит вой, обласканный милостью богов. Кто его съест, привлечет на себя расположение небес. Руки не хватает – съешь руку и обретишь потерю, нет глаза – ешь глаз. И так далее. Все поделили, ничего не оставили.

Верна разворошила костер, подбросила дров, и вместе кое-как восстановили палатку. Затем перенесли в нее Безрода. Тычок приколченожил сам. Держался на грудь, бороду перепачкал рвотой. Видать, все же вывернуло старого.

– Калеки хотели сожрать Сивого?

– Ага. Людоеды.

Верна с трудом приходила в себя, Гарька усмехалась. «Чего перепугалась, красота? Чем ты лучше их? Чего удивляешься? Разве у самой руки не по локоть в крови?!»

– Хотели еще теплого разорвать на куски и схарчить без соли. И у них почти получилось, – поморщился Тычок.

Губы Верны задрожали. Смотрела на Гарьку, словно та полоумная и несет полную чушь. «Не веришь, что такое возможно? Дура ты, как есть дура! Своими руками удавила бы, да мараться неохота. Еще капля крови, и меня стошнит, как Тычка».

– А с этими...

– Оттащим подальше в лес. Что стервятники не съедят, то в землю уйдет. Все бездомные да... – Гарька запнулась. – Безродные.

Верна поднялась на ноги, вытащила из костра горящую дровину и долго ходила по полю, разглядывала следы побоища. Тычок искоса на нее поглядывал и видел, как мрачнело лицо и округлялись глаза, наполняясь ужасом. При жизни убогие были страшны, в смерти, разорванные и раздавленные, стали просто безобразны. У тела одноглазого дружинного присела и сидела особо долго и неподвижно. Деревяшка так и осталась торчать из глазницы. Ножа даже при смерти не выпустил. Верна мрачно обозрела искателя счастья, особенно пристально жилистые руки.

– Здоров, сволочь! Кто прикончил?

– Тычок.

– Тычок?!

– Удивлена?

– Н-никогда бы не подумала...

– Думала, старик горазд лишь байки травить? Того, что он сделал, не повторили бы ни ты, ни я! Огнем плевался, ровно настоящий огнедых! Видишь, рожа у одноглазого опалена, борода подгорела?

– Вижу.

– Тычкова работа. Теперь оставь меня. Хочу одна побыть.

На Гарьку накатило. Руки-ноги растряслись, едва не выплеснула ужин. Зазнобило. Во время схватки гнала от себя весь ужас происходящего, но куда его прогонишь и надолго ли, если со всех сторон одноглазо косятся мертвецы и одноруко тянутся скрюченными пальцами? Наверное, настоящие вои ведут себя по-другому, но Гарька ничего с собой поделать не могла. Баба и есть баба. Сегодня впервые пожалела о том, что сорвалась в дальнюю дорогу. Никому не рассказывала, отчего убежала из отчего дома, но врать ли самой себе? Не по нраву пришелся жених, что выбрали родители. Считала себя достойной лучшей доли, нежели гнуть спину в поле и год от года приносить детей. Тут еще мудрец-бродяга дорогу перешел, будь он неладен, пусть отсохнет его дурацкий язык! Дескать, лишь опустившись на самое дно, человек может измерить всю глубину собственной души. Каков ты в рабстве – так ты и велик. Отчаялся, махнул на себя рукой, пропадай во тьме. А сможешь подняться с самого дна – тебе честь и хвала. Поднялся сам, поднимешь и остальных. Но что-то остальные рабыни не захотели подниматься. Пропали увещевания втуне. Ни одна не поднялась над своим безрадостным бытием, остались забитыми дурами. Хотя, тут еще посмотреть, кто дура. Боги, боженьки, как же хочется просто разбрасываться силой в праведном труде по хозяйству и год от года приносить мужу ребятишек. Одна только радость в жизни – Сивый. Думала, врут люди, что такие ходят по земле. Нет, не врут. Вон, в палатке лежит, на последнем издыхании. Тепло около него. Ровно согрелась. Как будто дул пронизывающий ветер, а тут встала за стену и согрелась.

Гарька забылась дурнотным сном. Все тянулась поближе к костру и стонала. Верна поглядывала в ее сторону и не знала, что делать, – перевязывать или оставить в покое. Наконец решила оставить в покое. Все равно не далась бы. Пусть уж лучше Тычок обиходит – его подпустит...

Глава 3 ЧУЖАЯ

Про такое лишь сказки рассказывать. Стоило мне уехать, с Безродом едва беда не случилась. Откуда на нашу голову свалились эти убогие? Ума не приложу. Тормозить Гарьку не стала. Та меня просто-напросто послала. Предлагать помощь тоже не стала, хотя нашу коровушку надлежало перевязать. Все равно не далась бы. Тычка уложила рядом с Безродом, еле-еле нашла одеяло, которым и укрыла старика. Впрочем, еще неизвестно, чего больше было в том одеяле, лоскутов или дыр. Ладно, утром подошьем.

А пока кругом царила ночь, я бродила по поляне. Жутко. Пересчитала всех ублюдков, что заявились к нам на огонек. Полных три десятка. И какой такой «доброжелатель» науськал на Безрода убогих? Это же умудриться нужно! Вряд ли все тридцать бродили одной спаянной дружиной. Вон как перегрызлись! Стало быть, собрал их неизвестный доброхот по одному и накрутил так, что увечные сломя голову кинулись на поляну. У кого слишком длинный язык? Брюст?.. А что он мог сказать? Будто невзрачный беспояс положил пятнадцать человек, а мог и больше? Нужна ему и его дружине такая слава! Скорее всего, скажут, будто напоролись на разбойных людей и потеряли в битве пятнадцать человек. Уважения и почета прибавится, стыд и позор не вылезут наружу. Если не Брюст, кто тогда?.. Жаль, расспросить некого, ни одного не осталось.

Пока тихо кругом, поволокла первого калеку в лес, подальше от стана. Затащила так далеко, как позволили ветви и корни. Хотела обшарить, не найдется ли чего интересного, да передумала. Не много приятного шарить по немытому телу и возить руки в крови да грязи. Да и что найдешь у бродяги? Пергамент с именем «доброжелателя»? Разу лишнего не посмотрела бы на убогих, не блесни в свете костра нож, зажатый в руке одноглазого.

Приметный нож, донельзя приметный. Уже попался такой на глаза. Черная костяная рукоять и длинное лезвие шириной в два пальца. И вся закавыка оказалась в том, что видела такой нож на поясе у Грязи, когда связанная сидела в стане темных. Спутать невозможно. Ножны из черной кости, но не крашеной, а просто старой. Словно кто-то выдержал кость долгое-долгое время и, когда она потемнела, отдал мастеру. Моржачья? Или какого-то неизвестного мне зверя? Чего только на свете не увидишь! Но стоило вынуть клинок из мертвой руки, как меня замутило и повело. Стало так нехорошо и жутко, ровно клинок обладал недобрым духом. Говорят, будто в каждом человеке есть зло и добро, но, когда взяла в руки нож, все мое неизбытое зло полезло наружу. Губы против воли ощерились, перед глазами полыхнуло, и, наверное, в ошметки покромсала бы мертвое тело, если бы не опомнилась. Разжала пальцы и выронила нож. Злость укладывалась обратно на самое дно души, и, как в горах озорничает эхо, отголосок злобного рева еще долго сотрясал мою память.

Станный нож. Всплеск беспричинной злобы никак не списать на бабью неуравновешенность. Дело в ноже. И когда я притащила из костра дровину, встала на колени и склонилась над ножом, чуть не вскрикнула от удивления. Матовое лезвие отдавало льдистой синевой и – удивительное дело – ничего не отражало. Ни меня, ни блеска огня. Откуда этот клинок у одноглазого дружинного? Откуда такой нож у Грязи? Предводитель темных лезвие не обнажал, и льдистую синеву клинка я не видела, но черную кость рукояти и ножен узнала. Видела белую кость на клинках, видела желтоватую, разок видела серую, но черную... Сволекла с одноглазого пояс, быстро сунула клинок в ножны и облегченно вздохнула. Я не оставлю этот нож на земле. Закопаю. Поволокла одноглазого в лес, вырыла ямку в стороне от горы трупов и сунула туда клинок с черной рукоятью. Пусть себе лежит. Недобрый нож, холодный.

До самого утра с небольшими перерывами таскала в лес людоедов. Несколько раз так далеко утащила, что едва не заблудилась. Но, слава богам, к утру все было кончено. Устала...

А с первыми лучами солнца в палатке громко застонали. Тычок? Я скорее молнии влетела в палатку и замерла. Старик лежал подле Сивого, свернувшись калачиком, и мелко сопел, зато Безрод громко застонал и открыл глаза...

Девять дней мой бывший блуждал меж двумя мирами и все-таки выбрал этот. Вроде бы и времени пролетело не ахти как много, но я уже забыла, как пронизывающ его взгляд. И не важно, что веки еще тяжелы, ровно печные заслонки, и глаза держатся открытыми всего несколько мгновений, он уже наш! Наш! Солнца, мой, Тычка, Гарькин, он принадлежит этому миру! Вне себя от радости растолкала нашу коровушку и расцеловала. Мои слюнявые нежности она не поняла, поначалу отстранилась, а когда уразумела, в чем дело, милостиво дала себя облобызать. Растормошили Тычка и втроем в шесть глаз молча смотрели, как Сивый приметно дышит и время от времени открывает глаза.

Чуть дольше, чем на остальных, его взгляд задержался на бывшей жене. Может быть, так лишь показалось, но на радостях ко мне вернулся сон. Ушла к себе в шалашик и буквально с порога провалилась в дрему. Уснула с улыбкой, на устах и проспала целый день. В сумерках проснулась и будто заново родилась; сама себе показалась такой легкой, словно меня только что искупала мама, а отец, замотав в чистое льняное полотенце, несет в избу. И смотрю я на подлунный мир синими глазенками, и вся эта необъятная Вселенная дружелюбно качается сообразно с поступью отца, и так мне делается хорошо, что, не дождавшись подушки, засыпаю на его плече...

Закатное солнце заглядывало в шалаш. Слава богам, все эти девять дней не было дождей, не то плохо мне пришлось бы. Я подскочила на ноги, ровно коза, но стоило подойти к черте, некогда проведенной Гарькой и еще вчера основательно затоптанной, как меня ровно под дых ударили. Глубокая борозда, еще глубже чем давешняя, расчертила мир надвое, и в той половине, что лежала по ту сторону, мне не было места. Гарька не дала понять неправильно. Весьма выразительно показала пальцем на черту и угрожающе сыграла бровями. Ничто не забыто, никто не забыт. Я осталась у черты и видела, как Тычок распахивает полы палатки шире, чтобы дать солнцу заглянуть внутрь. Видела, как Гарька сшивает растерзанное одеяло воедино, видела, как егозливый балагур убежал к ручью стирать льняные повязки – наша бой-баба с трудом ходила и все больше сидела. Видела, как старик после реки соорудил рогатку над огнем и затеял варить суп в котелке. Оно и понятно, сейчас Безрод голоден, как сто волков. Ну ладно, не сто... как маленький крошечный волчонок, но ведь голоден! Силы возвращаются. А вечером Гарька сама подошла к меже и глухо буркнула:

– И чтобы я тебя на нашей половине не видела. Ему сейчас покой нужен, а не свара. Захочет видеть – останешься, не захочет...

Не договорила. А я впервые через нутро пропустила коровушку и самой глубиной души поняла: Гарька – почти то же самое, что я, только с другой стороны. Жизнь за Сивого отдаст, и будет либо по-моему, либо по ее. Много думала и не могла придумать, чем же я лучше. Ничем. Точно ничем. Уж она людей не подставляла.

– Тебя, Сивый, не вдруг и съешь, – пробормотала я глубоко в ночи, улыбаясь. – Одни вот пробовали, подавились. И вторым поперек горла встал. Выздоровливай поскорее. Поговорить хочу. А кольцо я найду, ты не беспокойся...

– Дома ли хозяйева?

Ни свет ни заря разбудил знакомый голос. Разохотило меня спать с тех пор, как минул девятый день и Сивый пошел на поправку. Спала по ночам, как и подобает приличным людям, без задних ног. Потому и проспала осторожные шаги.

– Спишь крепко, стало быть, на душе спокойно. – Потык озорно щерился и кивал в сторону палатки.

– Какими судьбами? – вылезла наружу, спросонья терла глаза и ничего не понимала.

– Восвойси едем. Все распродали, в телеге воздух городской везем. Вот поздороваться решил.

Смотрела на пройдоху и против воли улыбалась. Молодец старик, что заехал. Чей-нибудь добрый взгляд и ласковое слово мне сейчас были нужнее всего.

– Пригласила бы всех в гости, да в моих просторных хоробах и одному тесно, – мотнула головой на шалаш.

– Нечего баловать олухов, – нарочито сердито буркнул Потык, кивая на сыновей, что так и остались в телеге. – Один едва не проторговался, второй чуть покупателей не отпугнул. Цену втридорога задрал, стоило мне отлучиться. Так и жизнь проходит. Где-то подлатал, глядь, в другом месте дыра!

– Тишайка видел? – Я усадила старика на лапник у входа.

– Видел. Теперь все десятские кони под ним. У князя в дружине. Не сегодня-завтра в поход выступают – на востоке озорничают. Два десятка уходят, и Тишайка в том числе. Да уж ладно. Пристроил сына к делу, и ладно. Говори, услышали боги?

Глядит хитро и лукаво, и даже ответ старому не нужен. Сам знает, что услышали. Вон Тишайку в то же утро в дружину определили, да не просто определили, а с руками оторвали. Мне не жаль рассказать, как прошли эти дни. Вот возьму и расскажу.

– Решили подарок ему справить. Рванула в город, пока туда-сюда, ночь наступила. Обернулась к полуночи. Подъезжаю и понять ничего не могу. Вроде наша поляна, а вроде и не наша. Народищу столько набежало, ровно торговый обоз встал на ночлег. Только как-то странно все, голоса звенят натужные, кричат, кое-где оружие дребезжит. Я тихонько спешила, меч наружу, ушки на макушке, и порскнула вперед.

Потык слушал молча, время от времени кивая.

– Вовремя успела. Представить себе не сможешь, что тут было!

– Может быть, и смогу. – Старик тербил бороду и оглядывал поляну.

– Одного зарубила, когда он собирался прикончить Безрода.

– Кого?

– Ну его... нашего раненого. Ты спроси, откуда они набежали и чего хотели.

– Спрошу по порядку: кто такие, сколько их было и чего хотели? – улыбнулся Потык.

– Нанесло в ночи бродяг. Все калечные да увечные. У кого руки недостает, у кого ноги, у кого глаза, у кого уха. Верховодил ими бывший дружинный, одноглазый. Ни за что не догадаешься, чего хотели!

– А чего гадать? Сама скажешь.

– Кто-то им напел, будто на этой поляне лежит порубленный вой, страсть какой могучий. Мол, сами боги обласкали воя расположением, стоит его съесть, мигом подманишь к себе милость богов. Кто съест глаз – глаз и обретет, кто руку – станет, как прежде, двуруким, кто ногу – встанет на обе. Хотели даже сердце съесть!

– Чего только не услышишь! Но ничего необычного не рассказала, вой до сих иногда едят храбрых врагов. Правда, не целиком. Хватает сердца.

Меня передернуло. Никогда не смогла бы съесть человечину! А ведь кое-где именно поедание сердца врага венчает собой обряд посвящения в вой.

– Интересно другое. – Старик воздел указательный палец, призывая к вниманию. – Кто знает вас в этих краях? Кто мог распустить подобный слух?

– Только Брюст. Но хитрец вряд ли стал бы распространяться о том, что один человек срубил половину его дружины. Грош цена ему и всей охране.

– А ведь в городе я слышал о том, что совсем недавно вой какого-то купца вступили в сражение с ватагой разбойных людишек и посекали их ценой пятнадцати человек. Дескать, лихих было человек пятьдесят. Срединник гудел, ровно улей. Хотели снарядить погоню за

остатками и вырубить заразу на корню, да кто-то отговорил. Мол, вражина изведен подчистую. Дескать, трупы сейчас воронье и медведи подъедают. Видно, сам Брюст и отговорил. Кого искать? Он ведь понимает, что к чему.

– Больше никто про нас не знает.

– И все же кто-то знает. – Старик, прикрыв глаза, убежденно закивал.

Из палатки вышла Гарька, заметила Потыка, поклонилась. Старик поклонился в ответ.

– Глядитесь друг на друга, как две волчицы, – усмехнулся глазастый пахарь. – А вон та черта уж больно похожа на межу. Ни дать ни взять поля разграничили.

– Ишь ты, усмотрел! – буркнула я и отвернулась. Того и гляди, еще какое-то время поговорим, и ушлый старик лучше меня расскажет, что с нами было, что с нами будет.

– Засиделся у тебя. Уже и сыновья, ровно жеребцы, копытами бьют. А меня еще Беловодицкие яблоньки ждут.

– Не передумал? Помрешь ведь, – укоризненно покачала головой. – Пуп развяжется.

– И пусть развяжется. – Потык тепло улыбнулся. – Сколько его в узлах держать? Самое время распускать. Не знаю, какая кошка между вами пробежала. – Старик показал в сторону палатки. – Знаю лишь одно – у каждого свое Полоречицкое поле, Беловодицкие яблоньки и полное нутро жил. У кого побольше – те еще не разбросались, у кого поменьше – все на заступ намотаны. Что-нибудь стоящее боги нипочем задаром не отдадут. И никогда не продешевят. Купчишки глаза брагой зальют, так им кажется, будто всему цену знают и могут даже против богов с барышом остаться. Дети малолетние! Еще рубашонками землю мели, когда боги на каждый шаг им жил отпустили. Где пройдешь, там кровийшей дорогу метишь или жилы на бурелом накручиваешь.

Покряхтывая, старик поднялся. Оглядел поляну и еще раз произнес:

– Целая ватага калечных и увечных?

– Ага.

– Слишком много крови слилось на этой поляне. Не знаю, в чем замысел богов, но что-то здесь будет. Вон как удобрили землю. Много жизней забрали, чем отдадут?

Я рот раскрыла. Вот тебе и пахарь! Вот тебе и мужик! Никогда бы не посмотрела на нашу поляну таким взглядом. А ведь правда. Здесь боги забрали столько жизней, что вряд ли это окажется случайностью. Была себе поляна, спокон веку ночевали на ней люди, кто в город припозднился, и вот на тебе, в одночасье столько кровийши слилось. Что тут вырастет на человеческих костях? А Потык не прост, ох как непрост! Да и окажется ли простым человек, взявший там, где отступились другие? Ведь не кто-то иной, именно мой старинушка забрал под себя злополучное поле с камнями. Столько молодости и сил пахарь сменял богам, что распознал сделку с полувзгляда.

– Не помяни худым словом, если обидел. – Старик оправил на коленях штаны, сбил пузыри. – Вою пахаря не зазорно слушать. И все же поосторожней, когда жилки на меч станешь наматывать.

– Это еще почему? Сам только что ска...

– Мало ли что я сказал. – Потык наклонился и прошептал в самое ухо: – У тебя должно жилок остаться на самое важное дело. Баба все же.

И ушел. Ворошила палкой прогоревшие угли и думала. Век живи, век учишься. Оглядела поле. Еще чернели пепельными пятнами тризница, еще темнела трава от крови, что слилась во время схватки с убогими. Завтра-послезавтра уйдем с этого поля, а на нем все так же станут останавливаться люди, и никто не будет знать, что здесь произошло. Я, кажется, знала, что делать. Да, определенно знала...

Начиналось наше обычное утро на поляне. Старик теперь трещал без умолку, как будто с возвращением Безрода обрел желание жить. Узнавала прежнего балагура. Словно все его

неприличные байки замерзли, превратились в лед, а теперь, когда вокруг стало тепло, оттаяли. Гарька ругалась на старого повесу, а тому хоть бы хны. Оно и понятно, Безрод вернулся в сознание, глядит одним глазом, и Тычку как будто похорошело.

Сивый еще не ходил – выносили на солнышко погреться. Сначала я от ужаса хваталась за сердце. Исхудал так, что становилось не по себе. Как будто череп обтянули кожей. Сам бледен, глаза в черных кругах. Головой крутит едва, но глазами косить уже получается. Когда вынесли в первый раз и он углядел свою бывшую, долго смотрел, только сказать ничего не мог. Наверное, язык показался неподъемным. А у меня, дуры, ноги отнялись, так и села у шалаша, пялилась как полоумная. По-моему, он хотел мне что-то сказать, но не смог. А взгляд... Не прочитаешь по глазам. Открыты еле-еле, не глаза, а просто узкие щелочки. Я знала, что дело плохо, но видеть его таким оказалось гораздо тяжелее, чем предполагала. Смотреть больно и невозможно. Спала той ночью отвратительно. Почитай, вообще не спала.

Тычок потчевал Безрода супами да кашами, и с каждым днем Сивый зримо становился крепче. Возвращался румянец, появлялся аппетит. Пожалуй, я понимала его как никто, хотя мне в свое время было все же полегче. Хоть ползать могла. Как-то попыталась даже за борт ладьи сверзиться и утонуть. Безрод вообще пластом лежал. Нет, пожалуй, со мной все же обошлись более милосердно, хотя молодчики Крайра и слова такого, наверное, не знали. Помню все, как будто это случилось только вчера.

В голове постоянно гудело, и казалось, что внутри развели огромный костер и от того огня меня всю палит невыносимо. Казалось, будто с каждым стоном изо рта рвется пламя, а драная рубаха, что надели на меня Крайровичи, должна просто воспламениться. Я даже воображала в тот момент не мыслями, а сгустками пламени. И потом встали передо мной стылые глаза, и снизошло великое облегчение, как будто все нутро заледенело и злой огонь унялся. Помню все. Как Безрод оголил меня, забросив рубашку на лицо, как ощупывал всю, ровно лошадь на базаре, разве что в зубы не заглянул. А что мне в зубы заглядывать? Одного как не бывало. Знали бы все, что это отвратительное присвистывание и самой не нравится, но что делать? Как избавиться от дурацкой шепелявости, если воздух так и свищет в дырке? Дура я, дура. Мало бабе своих дырок, получи еще одну! Шепелявой и помру...

– Ну вот, отдохай! – Гарька и старик вынесли Сивого на солнце.

Хорошо, что теперь лето. Было бы дело зимой, что бы мы делали?

Безрода вынес бы сейчас даже Тычок. Много ли нужно сил, чтобы поднять кожаный мешок с костями? Сивый уже мотал головой и слабо шевелил губами. Радовался солнцу и мимолетному ветру, как ребенок. Лежал на подстилке у самого входа в палатку, изредка слабо шевелил руками. Это было хорошо видно под одеялом. Возвращал себе навык.

Подошла ближе, встала у межи и села прямо на траву. Уставилась на Безрода, глаз не отведу, пока не унесут. Смотреть, слава богам, Гарька мне запретить не может. Сивый видел меня, это совершенно точно. Но я не могла понять, как он смотрит, со злобой или с прощением. Самое важное для меня все эти дни таилось в стылых глазах, не было ничего важнее на всем белом свете. Как он посмотрит на меня после всего, что произошло? Посмотрит ли вообще? Сидела и тарасилась в сторону палатки, пока Безрода не унесли внутрь. И только тогда окликнула Гарьку:

– Видела? Не погнал. Стало быть, могу остаться. Стирай между!

– Вот еще! Человек слова сказать не может, она уже по глазам читает! Больно приткая!

Подожду еще.

– Тычка позови.

– А я тут, наверное, на посылках! – Наша коровушка уперла руки в боки и покачала головой.

– Не станешь звать, сама позову. Ты...

– Да не ори, блажная. Человек только-только с того света выкарабкался, обратно своим ревом загнать хочешь? Сиди тут, у межи. Позову.

Смешно. Дойти до палатки от силы восемь шагов, она тут розыгрыш устраивает. Тычок вышел из-под навеса веселый, ровно услышал хорошие новости.

– Чего тебе, красота?

– А ты отойди и не подслушивай, – буркнула я Гарьке, что замерла неподалеку и вся обратилась в слух.

– Вот еще, слушать. Тоже мне тайны! – нырнула в палатку и была такова.

– Тычок, дай денег!

– Это еще зачем?

Ну все, старик вернулся к жизни. В голос вернулась подозрительность, в глаза – прищур.

– Надо. На праведное дело. Не на себя потрачу. А Безрод узнает, спасибо скажет.

– Ох, чудишь, девка!

Старик недоверчиво ковырял меня глазками, а я смотрела открыто и взгляд не прятала. Пусть читает по лицу, он это делает как никто. Нет, вы только поглядите, полез в кошелек, зазвенел серебром, вытащил несколько рублей.

– Хватит?

– Думаю, хватит, – придирчиво оглядела стариковскую ладошку и сиротливые два рубля на ней. – Не пузо поеду набивать. Сам все увидишь.

– Вот дела! – Тычок сбил шапку на затылок. – Что задумала?

– Пока не скажу. Но дело стоящее. Пойду Губчика собирать.

– На ночь глядя поедешь? Не погорячилась?

– К утру хочу на торгу быть. Куплю, что задумала, и назад. Еще до вечерней зари обернусь.

Темнело. Я готовилась в недалнюю дорогу и косилась на палатку. Уму непостижимо, что пришло мне в голову. А все Потык и его пронизывающий взгляд. Одного не знаю, хватит ли умения и сил воплотить задуманное. Ничего, жилы на заступ наматаю, а не отступлюсь.

В ночи бросила прощальный взгляд на палатку – вошло в обыкновение на сон грядущий представлять себе наш возможный разговор – и вскочила на Губчика. Не знала, станет ли Сивый со мной разговаривать, потому и мечтала, а в мечтах он меня прочь, конечно, не гнал. Как оно выйдет на самом деле?

– Ну пошли, родимый! – чуть тронула жеребца пятками.

Легкой рысью мы встанем у городских ворот уже к рассвету. Ночной дороги я не боялась, проскользну так, что у бессонных бродяг даже времени не хватит на гнусные замыслы.

Ехала спокойно, Губчик втянулся в рысь, и мы останавливались всего три раза. Слава богам, ничего страшного по дороге не случилось, хотя толпа калечных и увечных мерещилась мне за каждым поворотом. К утру выехала на первую заставу и облегченно выдохнула. Скоро и городские ворота покажутся.

– Ты гляди, ранняя птаха, – буркнул тучный вислоусый сторожевой, отворяя мне калитку – ворота как таковые отопрут много позже. – Я тебя, девка, запомнил. В тот раз на ночь глядя в дорогу усвистала, теперь прискакала рано утром. Поди, всю ночь коня гнала. И чего не спится?

– А может, обознался?

– Ага, много вас таких с мечом за спиной шастает. Ты это, никаких сомнений!

– Ну хорошо, я. Такпустишь?

Сторожевой калитку открыл, но сам встал в проходе намертво, выпятив пузо.

– Подозрительная ты. Вроде баба, а меч за спиной. Неправильная. А все неправильное – опасно!

– Ну хорошо, я неправильная, и меч у меня за спиной. А деньги в городе оставлять разрешается? Или у неправильных девок и серебро неправильное?

– А ну, покажи! – Вислоусый потянул шею, вставая на цыпочки.

– Да гляди, не жалко, – показала Тычковы рубли.

– Проезжай, – Сторожевой переглянулся с напарником и посторонился, пропуская внутрь.

В городе спешила и повела Губчика в поводу. Шли тихо, по обочине. До открытия торга оставалось всего ничего. Вот покажется макушка солнца над дальнокраем, и первые торговцы выйдут встречать покупателей.

Пока искала нужное, глазела по сторонам. Красивый городишко. Дома выстроены не кучно, а впереди, там, где под городской стеной уходит вниз пологий холм, открывается красивый вид. Ложбина тянется далеко вперед, выравнивается и постепенно забирает вверх, а над следующим холмом зеленеет лес, висят облака, и над всем этим великолепием встает солнце.

То, что мне занудилось, как горячую сдобу, мимоходом не продают. Нужно высматривать самой. Спрашивая дорогу у прохожих, я кое-как отыскала мастерскую Кречета, немногословного каменотеса, заросшего пышной седой гривой до самых глаз. Не поймешь, где еще патлы, а где уже борода.

– Чего тебе? Косишься, будто спросить хочешь.

Кречет растворил настежь дощатые ворота лавки, и взгляду предстала небольшая рабочая клеть, заставленная инструментом и напольными приспособлениями. В самом углу, между деревянными тисками и дубовой колодой примостился стул, простецкий и невероятно крепкий, сам весьма похожий на колоду.

– И правда спросить хочу.

– Если по делу, заходи, не стой. На сегодня первой будешь.

Осторожно прошла внутрь. Никогда не бывала в мастеровых клетях. Еще дома много слышала, но бывать не доводилось. Знала, что бондари мастерят бочки, а как они это делают, интересно не было. Подумаешь, бочки. Знала, что усмари имеют дело с кожами, а много ли умения нужно, чтобы для меня, дурищи, выделать мягкую телячью шкуру, – понятия не имела. В кузню даже не совалась, не бабье это дело с огнем разговаривать. Для разговора с огнем требуется ясный ум и спокойная душа, ага, поищите все это в бабьих головах да вечно неспокойном сердце. Как прикажете огонь понять, если себя порой с трудом понимала? Сделаю что-нибудь и только потом задаюсь вопросом: для чего все это было нужно?

– Давно камень тешешь?

Мастер снял с гвоздя кожаный передник и воззрился на меня из-под кустистых бровей.

– Ты гляди, любопытная какая! Да уж давненько. Соседи говорят, скоро сам буду похож на камень.

– Дело у меня к тебе. Важное.

– Сам знаю, что важное. Ко мне по другим не ходят. Рассказывай.

Долго не могла начать, просто не знала как. История необычная, с какого конца ни начни, покажется, будто начало совсем в другом месте.

– Памятник нужен. Большой. Выше меня.

– Можно и памятник изваять. Кому памятник? Ратнику? Гляжу, с мечом плотно знаешься.

– Ну-у... И Ратнику тоже. В общем, как бы это сказать...

– Да уж скажи что-нибудь. – Каменотес отложил в сторону долото и вздохнул. Понял, что начнет не скоро.

– Я должна сама его сделать. – Будто в омут с головой нырнула. – Непременно сама.

– И давно ты, девка, в нашем деле? – Лохматый усмехнулся, разглядывая мои руки. У самого ручищи будто каменные – темные, жилистые и, наверное, жуть какие крепкие. С камнем поведешься, сам станешь ровно камень.

– Честно?

- Ясное дело – честно!
- Ни дня. А только я обязательно должна сама. Понимаешь, сама!
- Мастер пожевал ус. Поджал губы под бородой и укоризненно покачал головой:
- Камень, подлец, хитер. Секретов таит не счесть. Знаю много, еще больше не знаю. И жизни не хватит вызнать все. В свое ли дело лезешь, дуреха?
- Не-а. Помотала головой. Не в свое. Но надо, обязательно надо.
- Кречетушка, миленький, знаю, что скажешь, но отступить некуда. Кровь из носу, нужно сделать, и сделать должна сама. Непременно сама!
- Пуп развяжется, – буркнул каменотес.
- Держать его, что ли? Пусть развяжется. Сам сказал, что дура. Какой с дуры спрос?
- Кречет какое-то время молчал, вертя в руках молот на длинной, потемневшей дубовой рукояти. Потом повел челюстью так, что пышная борода ходуном ушла, и крякнул.
- Дура! Как есть дура! За инструментом пришла?
- Лишь кивнула.
- Кувалда и зубило, – пробормотал каменотес оглядываясь. Чуть позади и левее поднял с лавки черное зубило с блестящей кромкой и подал мне. Небольшой молот взял с приступки.
- Правша?
- Да.
- Гляди сюда. – Левой рукой обхватил зубило, пристроил над ним молот и замер. – Вот так, видишь?
- Я пожирала глазами руки мастера и запоминала. Так зубило держать, а так – молот.
- Какой камень станешь резать?
- Пожала плечами. Что значит «какой»? Крепкий.
- Камень бывает разный. От этого и станешь плясать. Бывает слоистый, бывает зернистый, бывает... Объяснять долго, в двух словах не расскажешь. Поначалу веди осторожно. В осьмушку силы. Погляди, как ведет себя камень. Какой скол, как по сердцевине зубило идет. Если откальваются крупные куски, налегай аккуратней, если камень очень крепкий, иди по маленьким насечкам. Где станешь работать?
- Я показала рукой.
- Полдня отсюда.
- Там у нас серый зернистый булыжник, скалы близко... – Кречет напряг память.
- Ага, и в Полоречицких полях очень много камней!
- Каменотес вдруг умолк и долго на меня смотрел.
- Сколько живу, впервые такое вижу. Расскажу парням – не поверят!
- А ты не рассказывай. Покажи.
- Что показать?
- В полудне отсюда, на большой поляне у самой дороги. Через какое-то время сам увидишь.
- Кречет впервые за все утро улыбнулся. Борода растрескалась, и блеснули ровные зубы.
- И погляжу. Все поняла?
- Ага. Зубило держать так, а молот вот так. – Я показала. – Посмотреть, как ведет себя камень, если откальвается крупно, слоями – не налегать, если скол мелкий и зернистый – вести уверенней, все больше уголком зубила.
- И еще. – Каменотес воздел указательный палец. – Если глыбка уже отколота от материнской скалы, тащи на место смело, если только собираешься откальвать, смотри за наклоном. Не придавило бы ненароком. На скол слей жертвенное подношение. И выбирай камень с узким пояском.
- С чем? – не поняла.

– Поди сюда, – усмехнулся мастер, а когда я подошла, обе руки положил мне на пояс. – Откальвай в самом узком месте. Вот тут. В пояске. Поняла?

Кивнула. Полезла за серебром, и через мгновение блестящий рубль перекочевал в темную ладонь Кречета.

– Наведаюсь через месяц. – Седобровый погрозил мне пальцем. – Не дайте боги, непотребное увижу!

– Все будет хорошо! – улыбнулась. – Тебе не придется краснеть.

– А звать как?

– Верна, – уже в спину бросила я.

Пока болтали о том о сем, торг ожил. Проехала телега, увозившая куда-то несколько выделанных шкур, от которых едко пахло дубильней. Через дорогу перекрикивались каменотесы, всем было интересно узнать, отчего к соседу приходила девка с мечом. Неужели невеста сыскалась для сына? Седобровый сдержанно посоветовал не распускать языки, а заняться делом. Серая лошадка волоком протащила тес для бондаря, доски деревянно гремели друг о друга и подпрыгивали на неровностях. В каждой рабочей клети, срубленной наподобие двустворчатых ворот, весело кипела жизнь. Бронник резал бычатику для доспеха, гончар черпал глину из корытца позади себя и плюхал все на вертушку, что приводил в движение ногой. И если бы не дело, подолгу останавливалась около каждой мастерской. Раньше все это меня не интересовало, а тут как будто подменили. Может быть, на самом деле подменили, и я уже совсем не та дикая кошка, что фыркала и шипела в рабском загоне Крайра?

– Вот и все, а ты боялся! – весело бросила сторожевому у ворот.

– Потратила? – Вислоусый покачал головой. – Все деньги? Должно быть, сладостей набрала?

– Уж ты бы, конечно, бражки прикупил, – усмехнулась я, вскакивая в седло за воротами.

– Ясное дело! – облизнулся пузан. – И мясца горячего, прямо с вертела. На твое серебро можно было уестся вусмерть. И упиться.

– На вот, – бросила серебро. Вислоусый, даром что необъятен в пузе, сноровисто поймал рубль. – Тут хватит и на бражку и на мясцо.

– Чудно как-то! – крикнул вдогонку сторожевой. Ему пришлось напрячь голос – телеги под лошадьми и ослиами тянулись в город длинной шумной вереницей. – Серебром разбрасываешься! А все равно спасибо, неправильная девка!

– Будь здоров! Просто на душе хорошо!

Как раз посередине между полуднем и заходом солнца я приехала. Безрод лежал у палатки и наслаждался покоем. К нему понемногу стал возвращаться тот пронизывающий, острый взгляд, от которого еще недавно меня в дрожь бросало. Глядит, будто иглой колет. Жаль, языком еще не ворочает, послушать бы, что скажет. Если разговаривать захочет.

– Я на месте! – громко возвестила, проходя мимо черты.

– И слава богам, – разлыбился Тычок. – Удачно съездила?

– Ага.

– А зачем ездила?

– Во! – Я подняла над головой зубило и молоток.

– Ишь ты! – Старик сбил шапку на затылок. – И для чего?

– Скоро покажу!

Не останавливаясь, проехала. Немного дальше по дороге, если ехать из Срединника, чуть правее, стояла небольшая каменная гряда. Среди прочих валунов нашлись материнская скала и скальный вылет высотой в два моих роста. Больше плоский, чем объемистый. Спешилась и подошла вплотную. Положила руки на камень, за целый день нагретый солнцем, и вообразила, как сделал бы все Кречет, будь он на моем месте.

– Пахари говорят, земля живая, – начала я. – Это и раньше знала. Но то, что в камне душа заточена, даже не думала. Кречет глаза раскрыл. Сказал, вы, камни, капризные, все твердую руку подавай, острый глаз и ясный замысел. Что нашла – то и есть. Не взыщи.

Прислушалась. Вроде тихо. Скальный вылет, эдакий побег-переросток соединяла с материнской скалой перемычка, толщиной с мое тело.

– Ровно пуповину перережу, – шепнула, вставая на колени. – Как будто родиться помогу. Значит, я повивальная бабка? Ну ладно... не бабка, девка.

Валун-исполин, ровно каменный шип, рос вверх и немного в сторону. Обошла кругом, примерилась. Вот сюда стану бить, а в эту сторону он упадет.

– Конечно, трудно будет, а роды вообще нелегкое дело. Сама не знаю, но бабы говорят, что непросто.

Прислушалась. Тихо. Скала молчала. Не нашла ни единого знамения, что я услышана. А может быть, все это сказки, будто у куска камня есть душа? Может быть, мастеровые просто цену себе набивают? Ага, сидит душа внутри камня, глядит сейчас на меня и думает: «Во, девка дура, с камнем бессловесным разговаривает! Вот промолчу, пусть почувствует себя умиленной!» Весело будет. Ладно, там посмотрим, утро вечера мудренее.

Напоследок еще раз приложила руки к валуну и почувствовала лишь горячий камень. Кажется или скала на самом деле горячее, нежели должна стать на дневном солнце? Впрочем, чего гадать, время все расставит по своим местам!

Наверное, Сивый попросился спать на воздухе. Ну и молодец. Правильно. Я сидела перед костром, когда его вынесли. Старик даже подложил Безроду под поясницу скатанные в колбасу верховки. Самое время.

– Я хочу поговорить.

Сказала никому и всем сразу. Гарька уставилась на меня, как на диво дивное, Тычок сбил шапку на глаза, чтобы не видеть того, что может случиться. Бросила в никуда, но смотрела на Безрода. Мой бывший какое-то время морозил меня стылými глазами, потом слабо кивнул. Пересекая межу, нарочито аккуратно ее затоптала. Не потому, что хотела уязвить Гарьку, просто сердце застучало как бешеное и я растерялась. Позабыла все, что хотела сказать, и просто взяла роздых, дабы успокоиться. Так же страшно было, когда впервые встала против настоящего, а не соломенного врага.

На тряских ногах подошла к Сивому и так поспешно опустилась на землю, что, по-моему, все заметили, что я мало не рухнула с ног долой.

– Я, наверное, дура?

Солнце висело над кромкой леса за моей спиной, Безрод смотрел прямо на светило, но теплые лучи не топили синий лед в глазах. Ни слова не сказал, просто едва заметно повел плечами. Не знает.

– Тебе уже лучше?

Губами еле-еле слепил короткое «да».

– Скоро ты встанешь. Обязательно встанешь!

Кивнул. Конечно, встанет! Разве теперь есть какие-то сомнения?

– Мы очень волновались. Все эти дни не отходили от тебя...

Ну и чушь несут! Неужели ему это интересно?..

– Тебе очень больно?

Смотрел на меня долго и молчал. Наконец едва заметная ухмылка оживила бледные губы. Покачал головой. Нет, не больно. Врет, конечно, сволочь, но как держится!

– Ты знаешь, я... мне как-то не по себе... – не смогла выдержать взгляд синих ледышек, опустила глаза долу. – Ну... в общем, дура я была! Одна во всем виновата! И не нужен был мне этот Вылег, позлить хотела, в бешенство ввести. Вот и поплатилась. Много народу из-за меня

головы сложило, и ты чуть не полег. Не знаю, простишь ли меня... Жизнь свою никчемную отдам, лишь бы все вернулось назад! Прости! И кольцо я найду, обязательно найду!

А когда подняла глаза, обомлела. Безрод спал, и уже не знаю, что он услышал, а что нет. Просто закрыл глаза и понемногу съезжал с горы подстилок за спиной. Я подхватила и осторожно помогла улечься. Вытащила верховки из-под поясницы и отшвырнула в сторону. Потеплее укрыла и положила руку на лоб. Давно не касались друг друга. Меня ровно кипятком обдало, перестала себя чувствовать, а потом по телу разлилась волна озноба. Такого со мной не было даже в девичестве. Будто задержалась на краю провала и, затаив дыхание, сиганула в пропасть. С Брюем летала, с Безродом не хватает воздуха, он забирает силы и дыхание. Или сама отдаю?

Беспомощно оглянулась. Тычок смотрел со странным выражением лица, Гарька задумчиво хмурила брови. Как собралась готовить вечернюю трапезу, так и простояла с котелком, пока я болтала. Все слышала, коровушка?

Да, между на земле затерла, но как стереть границу, что разделила меня и Сивого? Он не прогнал, разрешил присесть рядом, даже говорил со мной, но, если не я, кто лучше читает по ледяным глазам? А там я не нашла ничего теплого и участливого. Может быть, ему просто больно? Откуда взяться счастьем и весельем, если человеку просто-напросто больно? Поживем – увидим, но так тоскливо и холодно мне не было даже во времена долгих сумрачных зим.

Утром, ни свет ни заря уже поднялась. Не терпелось. Даже есть не стала. Просто не смогла себя заставить. Но какой бы ранней птахой ни была, Гарька поднялась еще раньше. Сидела у входа в палатку и тарашилась на меня умными глазищами. Как будто сказать что хочет. Я подхватила мешок, сунула туда зубило, молот, ложку, нож, крупу в холщовой сумке, а с котелком не придумала ничего лучше, как надеть на голову вместо шлема. Ничего. Прошагать всего-то несколько сот шагов, не растаю. И поднять меня на смех некому – лес кругом, а увижу кого-то на дороге, мигом сдерну.

– Даже не поешь?

– Даже не поем, – с чего такая забота?

– Ну-ну, – уже в спину бросила наша коровушка. – И куда направилась?

– На кудыкину гору! Тебе что за болячка?

– Нужна ты мне. – Она фыркнула. – Где тебя искать, если что?

– Тут недалеко. Справа от дороги.

Ну понятно. Если Безрод спросит, где я, никаких неясностей быть не должно. Не хватало только из-за меня переживать.

– Не будет он обо мне спрашивать, – буркнула под нос. – Он и не говорит пока.

На дороге никого не встретила, благополучно дошла до места и отвернула в нужную сторону. Сотней шагов правее высилась моя скала. Что делают мастеровые перед тем, как приступить к делу? Наверное, то же, что вои перед схваткой. Без присмотра богов ни одно благое дело обходиться не должно.

– Э-э-э... а-а-а... Успей, пригляди за мной, не дай повести зубило неровно. Много чего в жизни я испортила, не позволяй испортить и это. Мысли мои чисты и ясны, как только могут быть ясны бабьи мысли.

Поплевала на руки и опустилась на колени под каменным шипом...

Спина затекает, руки немеют, в волосах оседает каменная пыль, постоянно приходится щуриться – мелкая, кусачая каменная крошка летит из-под зубила во все стороны. Я крепко-накрепко удержала в памяти заповедь Кречета с самого начала определить, куда будет падать глыба, и подрубать словно дерево – клином. Так и рубила. Не заметила, как день перевалил за середину. Рубить дерево гораздо удобнее, нежели камень, чем глубже я открывала нутро,

тем больше приходилось делать клин. Тут я не боялась, что отколю слишком много, наоборот. Разожгла огонь, кое-как приготовила кашу и, не замечая вкуса, проглотила. Все мысли остались там, на острие зубила. Руки ходуном ходили от непривычной работы, ложка стучала о зубы. Не помешали бы рукавицы – кажется, у Тычка имеется пара. Быстро ли можно подрубить каменный шип, если шириной он с туловище взрослого человека? Мне казалось, что к вечеру должна закончить. Ага, как же! Ушла обратно после заката, лишь тогда, когда перестала отчетливо видеть блестящий край зубила. Думала о чем-то своем и только у шалаша поймала себя на том, что и дышу, как рубила камень: удар-вдох-удар-вдох. Ночью проснулась оттого, что руки заходили, якобы в одной зубило, в другой молот.

– Поела бы, – проснулся ко мне утром Тычок с котелком каши. – Я вот тут подсуетился.

– А?.. Что?.. – спросонья не поняла, в чем дело. Это просто старик каши принес. – Как он?

– Ты гляди, еще глаза не продрала, уже спрашивает! Да, слава богам, идет на поправку.

Вчера каши поел. Уже говорит.

– Еще седмица – начнет ходить.

– На нем как на собаке заживает.

– Скажи лучше, как на волке. Волчара и есть. Глядит – ровно впервые видит, холодно, настороженно.

– Что есть, то есть.

Быстро уплела свою долю, поблагодарила и унеслась к скале. Море крови, слитой за время нашего стояния на поляне, не давало спокойно дышать. Каждая ее капля упала на траву по моей вине, отчего же таким дурам должно спокойно житься? Быстрее, быстрее за работу.

Сегодня подрубала с боков, справа и слева. Не забывала поглядывать на тень каменного шипа. Каменотес из меня пока выходил неважнецкий, что настоящий мастер прозревает наперед, мне приходилось узнавать на собственном опыте. А если глыба начнет валиться, пока я под ней вошкаюсь? Вот и косилась на тень, слушала: раздастся каменный треск или нет?

За целый день, с перерывом на кашу, поработала на славу. Шип стал будто гриб на тоненькой ножке. Кожаные рукавицы, что взяла у Тычка, не спасли, все равно руки изошли кровавыми волдырями. Только на эти досадные мелочи я не обращала внимания. Скоро, скоро рухнет. А может быть, впрячь Губчика и заставить принять во весь дух с места? Рванет, и камень не выдержит? Поглядела так и эдак, обошла со всех сторон и решила – пока рано. Болели глаза оттого, что приходилось постоянно щуриться. Если наутро морщинки не разглядятся, пойму, хоть и не обрадуюсь. Во сне продолжала рубить камень, даже видения приходили такие – под сильными ударами камень слоится и отлетает пластами. От ощущения силы и проснулась. Вовремя.

– На-ка поешь! – Тычок тут как тут. – Даже кричала во сне. Ухала, ровно филин.

– Давно собою не гордилась, ничего стоящего не делала, может быть, хоть теперь...

– А что делаешь? Все гадаю.

– Скоро узнаешь. Ты мне, кстати, понадобится. Поможешь?

– Если никого убивать не нужно...

Вот языкатый старик! Уел!

Унеслась к скале. Сегодня третий день – каменный шип должен пасть. Самое время. Если понадобится, даже есть не стану в полдень. Интересно, за какое время мастер Кречет подрубил бы каменный шип? Уж, наверное, не за три дня, поскорее.

К вечеру раздался долгожданный треск, и глыбища собственной тяжестью обломала тоненькую перемышку под собой. Как ни ждала этого мгновения, застало врасплох. Я уже плохо соображала, в голове не крутилось никаких мыслей, лишь тупо отдавался стук молота по зубилу. Каменный исполин, выстрелив назад крошкой, стал заваливаться вперед, а я даже шевельнуться не смогла – спина затекла и ноги свело. Оказалась бы на пути – не смогла убежать. А когда земля гулко вздрогнула под ногами и меня встряхнуло до самой макушки, с

облегчением повалилась на бок и с блаженством вытянула члены. Молот и зубило бросить не смогла, пальцы не разжались.

– Спа-а-ать, – бормотала, сворачиваясь клубком. – Спа-а-ать!

Знала, что нельзя лежать на голой земле, но не могла вынырнуть из дремы в настоящее бытие. Земля жадна до человеческих подношений, с удовольствием принимает пот, кровь, плоть, а тепло вытягивает из косточек на «раз». Только отдав земле тепло, обратно в тело уже не вернешь. Это знает каждая баба, потому и не сидит наша сестра долго на камнях и на земле. Но я слишком устала. Спасибо Губчику. Мягкими губами пожевал мои волосы, легко прихватил ухо, и я с трудом вынырнула из усталого забытья.

– Идем, милый, идем обратно. Поставлю с остальными лошадьми, и ты спокойно переночуешь.

Хорошо, что взяла Губчика с собой. Вчера не брала. Как будто знала, что понадобится.

Как велел Кречет, скол запятнала сукровицей из пузырей на руках и обмазала кашей, точно рану залепила. Назад ехала полусонная, клевала носом, повесив голову на грудь. Не смотрела по сторонам, слава богам, жеребец без понуканий знал, куда идти. Шел спокойно, размеренным шагом. Через прикрытые веки в глаза стучалось закатное солнце и ласково оглаживало лицо теплыми лучами. Я даже разлыбилась в дреме.

– Тычок, а Тычок, – позвала, с закрытыми глазами соскакивая на землю. – Будешь нужен завтра.

– Я и Безродушке нужен, – горделиво сообщил старик.

– Ненадолго, – зевнула. – Зато потом тебя долго будут помнить люди.

– Меня? – удивился старик. – Меня?

– Ага, – буркнула, влезая в шалаш. – Именно тебя.

По обыкновению рубила во сне камень, разодрала в кровь язвы на ладонях.

– Вернушка, пора вставать.

– А... что?

– Я и кашки сварил.

– Как он?

– Слава богам, с каждым днем лучше. Вчера на руках приподнялся. Правда, держался недолго, но все-таки! На-ка вот, кашки поешь.

– Кашевар из тебя знатный, – похвалила я с набитым ртом.

– Должно быть, и не знаешь секрет моей каши. – Тычок хитро прищурился. – Размолот метелочку – травка тут растет интересная – бросил в котелок. И что?

Я прислушалась к себе. Как будто острит, горчит и одновременно сластит. Ничего подобного не едала.

– Раньше делал такое?

– Никогда не был в этих краях, а в наших местах такой травки отродясь не росло. Но, гляжу, лошади кой-когда щипают. Думаю, что за диво. Попробовал на вкус. Понравилась. Поджарил на противне. Пепел отдает немного яйцами и пряницей. Дай, думаю, добавлю в кашку. Размолот на камнях и добавил. И как?

– Будем уезжать, прихвати с собой мешочек. Станем народ удивлять. Готов?

– Меч брать?

– Оставь, – ишь ты, остряк.

Уже на месте Тычок огляделся, показал пальцем на подрубленную глыбу и немо поднял брови.

– Ага, – кивнула я. – Моя работа. Твои рукавицы очень помогли. А теперь подойди к валуну и ложись.

– На камень?

– Именно.

По счастью, глыбища оказалась не круглой, как бревно, а словно тесанной с обеих сторон. И упала очень удачно – плашмя, и не раскололась, как я того боялась.

Опасливо старик разлеся на плоском камне и сложил руки точно покойник – на груди.

– Нет, не так, – подошла ближе и сунула в руку палку. – Ноги расставь, как будто широко стоишь и опираешься на палку.

Старик выполнил в точности все, что сказала. Расставил ноги на ширину плеч и «оперся» на подпорку. А я взяла угли и быстренько описала на камне черты лежащего человека.

К тому времени старик уже догадался, что задумала, не понял, правда, другого – отчего мне взбрело в голову заняться тесом камня.

– А сверху припиши, дескать, это Тычок, несчитанных годов мужичок. Храбрости немереной...

– И длиннющего языка, острого как меч. Слезай.

– Все? Когда ваять начнешь?

– Прямо сейчас. Правда, ваятель из меня тот еще.

– А чего не в свое дело полезла?

– Так нужно. Слезай и отправляйся восвояси. Тебя Сивый ждет.

– Смотри тут у меня, – погрозил пальцем старик. – Дурью не майся. Сделай все как надо! Чтобы всякий мимохожий сразу понял, что Тычок – храбрец-молодец, умная голова. И статью сделай меня помогучее, грудь колесом, шлем нахлобучь, щит, меч опять же. И взгляд сделай грозный, дескать, если что-то не по мне...

Слушала и качала головой. Каков наглец! Как только Безрод пошел на поправку, тут и старый егоз ожил. Раздухарился, сделай с него изваяние, да не просто изваяние, а сильномогучего поединщика. Да если бы мимохожие знали, с кого списан этот каменный храбрец, со смеху лопнули!

– Тычок, тебя Сивый заждался.

– Иду. А может быть, взять у Безродушки меч? Чтобы точнее было!

– Обойдусь. Не заблудишься?

– Да если хочешь знать, я самый что ни есть первый следопыт! Из любой глухомани выйду! Как-то был случай, заблудилась моя Пеструшка...

Не знаю, мне было приятно слушать старика. Пожалуй, именно такого свекра я и хотела бы. Добрый, бесконечно добрый и заботливый старик в оболочке ершистого колючки.

Тычок ушел, а я какое-то время ходила вокруг да около глыбы. Подступил непонятный мандраж, вроде бы и кровью не пахло и ничья жизнь от меня не зависела, а сердце билось так, ровно все это действительно грозило. А вдруг не получится?

– А кто дядьке Фарратхе расписал охрой все ворота? – шепнула сама себе. – И что с того, что была девчонкой семи лет от роду? Ума как не было, так и нет. Смогла тогда, сможешь теперь! А ну-ка берись за дело!

Я когда-то неплохо живописала. Отец, узнав про мою выходку с воротами Фарратхи, рассмеялся и отдал под мои художества целую стену. Стену бани. Тем более что Фарратха оказался незлобивым воем и ржал во все горло вместе с отцом. Батя так и сказал: «Нарисуй, доченька, банного, да чтобы смеялся. Сам себя увидит, озорничать меньше станет. Веселее нарисуй. Где уж тут озорничать, когда смеешься, за живот хватается!» Слезушибануло. Милое, теплое детство, как ты далеко. Кажется, тогда и солнце светило ярче, и люди были добрее.

Ударила по зубилу первый раз. И пошло-поехало, как в любом деле – только начни. Не заметила, как наступил полдень, а спина с непривычки просто взвыла. А когда по дурной нечаянности бегло разогнулась, я взвыла на самом деле, в полный голос. Доброе начало.

Жуя кашу, что сварила в котелке на рогатке, несколько раз обошла глыбу. Очертила лежащего человека, наметила меч, шлем. Не знала пока, глубоко ли буду высекать. Полагала, на

палец. Тесать человека из камня целиком даже не думала. Сноровки и умения пока маловато. После еды влезла на валун и расчертила зубилом доспехи каменного воя. Ничего не забыла, даже ремешки. Стучала по глыбе, пока солнце не село.

Думала, быстрее пойдет, но теперь стало ясно – провожусь не менее седмицы. И встанет на пепелище человек с мечом, а потом достаточно будет рассказать Кречету, что случилось на поляне, и мало-помалу весь город узнает, отчего у дороги стоит каменный вой.

Пусть Брюстовичи мимоездом лишней раз поклонятся павшим товарищам. В конце концов, какое дело, что уложил их один человек, а не ватага? Кровь и есть кровь. И пусть не попомнят дурным словом взбалмошную дуру, что нагородила такой огород. Как там бедолага Вылег? Его искренне жаль. Что вышло бы, окажись он теперь прямо передо мной? А ничего. Угостила бы кашей, и только. Как человек не всегда признает за свои выходки, что творил в бреду или во хмелю, так и я оглядывалась назад и только плечами пожимала.

Кто та девка, что бежала в лес на заре, не помня себя от похоти? Какая дура отдалась жарким телесным ласкам и позабыла обо всем на свете, кроме мести? Неужели я? Пламя в душе посдуло холодными ветрами, и я не чувствовала себя, тогдашнюю. Так сытый не понимает голодного, так же гусь свинье не товарищ. Как он там? Не случилось бы настоящей беды. В его увечье виновата только я, и никто иной.

Когда вернулась, перед палаткой жарко горел костер, и Гарька кормила Безрода с ложки. Он полусидел, укутанный одеялом, но кашу глотал с удовольствием. Сивый едва заметно повел на меня глазами, и Тычок тут же предложил:

– А кто не прочь отведать просяной кашки? С молочком!

– А молочко откуда?

– Свет не без добрых людей! Мимохожий пастух продал. Гнал коровенок на торг.

Свет не без добрых людей. Да-да, конечно, только последнее время их стало, по-моему, меньше. Или просто на нас беды посыпались одна за другой?

Сивый дышал ровно и тщательно пережевывал, хотя зачем кашу жевать – никогда не понимала. Глотай, как голодный волчище, и все. Набивай брюхо.

– Тебе лучше?

– Да.

Он заговорил! Пусть не так громко, как до ранений, но заговорил, и мне не пришлось наклоняться, подставляя ухо.

– Вставал?

– Нет.

А знаешь что, Сивый? Я хочу подпереть тебя плечом и увести к себе в шалаш. Там уложу на мягкий лапник и накрою стеганым одеялом. Стану всю ночь слушать твое дыхание, неслышно проведу пальцами по шрамам, «гусиные лапки» у глаз, три борозды на лбу, две убежали от носа в бороду, давно хочу это сделать, но, видать, глупости было больше, чем желания. И станет мне около тебя спокойно, как в теплом детстве, за отцовой спиной, когда мама хотела выдрать березовой хворостиной, а тот не дал. Сгреб обеих в охапку, и смотрелись мы с мамой друг на друга и только языки показывали. А что сделаешь, если меня батя стиснул правой рукой, маму – левой, и не двинешься и не шелохнешься? Отца сотрясал неистовый хохот, когда обе мы пытались вырваться. Потом и сами рассмеялись. Положила бы твою руку себе на лоб и... уснула детским сном. Ты гляди, только что хотела смотреть на тебя всю ночь, но разве не сдашься в плен такой непобедимой благодати?

– Хороша ли моя каша?

– И каша и молочко!

– Знай наших! – Кашевар горделиво приосанился.

– Рада бы узнать, если дадите, – смотрела на Сивого, все искала в нем прежнего Безрода. Холодный, но бесконечно живой и твердый взгляд, голос, полный жизни, для невнимательного

уха сухой и хрипловатый. А я знала, что за той сухостью трепещет жуткая сила, как если бы в руках стрельца изогнулся мощный лук. Едва отпустят руки, разогнется и стрелой вынесет сердце из груди.

Гарька и Тычок на мои слова промолчали, только покосились на Сивого. Тот медленно жевал и, не мигая, смотрел на меня. Я не выдержала и заморгала. А там и слезы набежали. Неужели не ответит?

Глава 4

КРАСНАЯ РУБАХА

На четвертый день моих ваятельных потуг случилось два замечательных события, которые в равной степени подняли мне настроение и ввергли в печаль: наконец в куске камня стало возможно разглядеть воя и Безрод встал. Не сам, разумеется, висел на плече коровушки, но все-таки! Потихоньку они обошли палатку кругом, и когда Гарька подвела Сивого ко входу, тот попросил еще. Я стояла рядом с Тычком и во все глаза смотрела, как мой бывший ковыляет к пепелищу. К тому времени пепла не осталось вовсе – весь разметали ветры, но выжженные пожарища остались. У черного пятна Сивый отлепился от Гарьки и, шатаясь, встал сам. Постоял немного и бессильно повалился на живую подпорку. Обратно шли дальше, чем туда, и, когда Безрод проходил мимо, я поймала еле слышное: «Пятнадцать!» Наверное, в то злополучное утро он даже не считал воев, что один за другим вставали напротив. Тычок тут же нырнул Сивому под вторую руку, а я задохнулась от беспомощности. Это не коровушка должна таскать Безрода на себе, а я! Я, и только я! Почувствовала себя собакой, брошенной хозяевами и никому не нужной. Двор теперь охраняет другой пес, и ходу мне туда нет.

Сгоряча бежала до каменной глыбы что было прыти. Прибежала, а сил еще осталось немерено. Ну я и начала тесать камень, да так, что к вечеру вырубилась изваяние на целый палец.

Тесала, а в голове крутились вовсе не праздные мысли. Как ни бегай от разговора, он должен состояться. Вот окрепнет Безрод немного, уведу его подальше, и поговорим по душам. Устала жить наособицу, не врозь и не вместе. Пусть скажет что угодно, только скажет. Хотя он уже давно все сказал, я не оставляла надежд вернуть прошлое. Чего только не скажет человек, когда вот-вот оборвется нить жизни. Конечно, он дал мне развод лишь только потому, что собирался погибнуть! Но ведь выжил!

Сивый должен, должен меня понять! Мне было очень плохо тогда, весь мир представлялся одной зубастой пастью, что класает и норовит укусить. Но что ты можешь увидеть, если глаза залиты злобой? Равно остервенело полощуешь руку с ножом, что тянется прирезать, и руку с открытой ладонью, что несет облегчение и ласку.

Дура, одним словом. Слепая дура. Только почему так выходит, что дурость смывается кровью и потрясением? Для того чтобы я прозрела и раскинула кругом всевидящим оком, потребовалось залить всю поляну кровью и спровадить на тот свет пятнадцать человек! Едва не шестнадцать. Не слишком ли дорога цена премудрости?

Ничего, мои хорошие, вы не останетесь безымянными, все пятнадцать. Каждый мимохожий, увидев изваяние, поклонится и остановит свой ход. И калеки пусть успокоятся в лучшем мире, от хорошей жизни не станешь рвать собрата, ровно голодный волк.

Каменный человек выходил статным и ладным. Не знаю, сама до того додумалась или резец вело небесным промыслом, однако вой выходил удивительно похожим на Сивого. Учсть то, что каменотесом я была аховым. Первый раз взяла резец и молот в руки. Но каменные Безродовы глаза под насупленными бровями выходили такими же пронзительными и холодными, как настоящие. И эти неровно стриженные лохмы...

Я опомнилась уже после того, как несколькими резкими чертами изобразила торчащие из-под шлема вихры. В том бою, один против пятнадцати, Сивый сражался без шлема и без доспехов, но я изображала вовсе не тот бой и даже не Безрода. Сама не могла понять, отчего каменный человек с каждым днем становится все больше похож на Сивого. Будто руки лучше меня знали, на кого должен быть похож каменный вой и как это вернее сделать.

Разохотилась резать до того, что, закусив язык, ровно девчонка, выводила каждую клепку на доспехе. Приходил Тычок. Сразу узнал, кто это неровно стриженный насупился и широко расставил ноги, опершись на меч. Постоял, почесал затылок и наконец буркнул:

– По-своему сделала... Ладно уж, пусть будет так. Парень тоже неплохо сражается. Я не возражаю.

Вы только посмотрите на старого наглеца!

0171Парень тоже неплохо сражается!» Не удержалась и рухнула с рук долой, так смех разобрал.

– Чего разлеглась? – напустился на меня Тычок. – Работы еще невпроворот, а она смешинку поймала и валяется! Кому говорят, за дело принимайся! Рубаху под доспехом сделай красной!

– Это камень! – выдавила я через смех. – Он только одного цвета.

– Охрой выкрась, бестолочь! – Старик постучал меня по лбу пальцем.

– Сойдет под дождями. Недолго продержится.

Насупился, отошел и поддал ногой шишку. Потом не выдержал и пристроился с другого боку.

– Ты меч сделай пошире. У Безродушки меч ведь не узкий.

– Шел бы на поляну. – Старик начал надоедать, а я уже чувствовала себя опытным камнетесом, которому советы несведущих зевак просто слушать смешно. – Без тебя разберусь.

– Смотри тут у меня. Завтра приду, проверю! – старый егоз погрозил пальцем и был таков.

А волосы вышли совсем как живые. Сделала их не плоскими, а выпуклыми. Всякому станет понятно, что это не просто черточки на камне, это волосы! Живые волосы, под непослушным ветром. А Тычкова затея с красной рубахой меня увлекла. И я, кажется, придумала, как сделать рубаху красной, да так, чтобы под непогодой краска не тускнела и не слезала.

Безрод крепчал день за днем. Прошли первые летние дожди, мой шалаш основательно залило, и ливень я переждала в лесу, под плащом. Слава богам, Безрод не промок, палатка не пропускала воду, основательно навощенная и подбитая изнутри телячьей шкурой, вываренной в жиру.

От нечего делать я бродила по лесу, все равно, пока не кончится дождь, на открытое не сунешься. Ноги сами понесли туда, куда не так давно стащила трупы калек. От них не осталось ничего, кроме обглоданных костей. Зверье растащило останки по всему лесу, и кости рук зачастую лежали основательно врозь с костями ног.

– Страшный лесок, – поежилась. – Очень страшный.

Кончился дождь, а я, как пришибленная, все бродила вокруг останков и ужасалась. Это лето запомню надолго. Сказать нечего, памятное лето. Пошел второй месяц нашего пребывания на поляне. Безрод мало-помалу начал ходить сам. Сначала шатко и валко, потом все уверенней, наконец и вовсе отбросил палку. Тычок по-прежнему перевязывал Сивого, только теперь к ручью стирать повязки ходил уже сам раненый.

Я слышала этот разговор.

– Дай сюда. – Безрод протянул руку и остановил старика уже готового отправиться полоскать повязки.

– Зачем же, Безродушка? Разве постирать больше некому? Да я с радостью!

– Надоело валяться, – еле слышно буркнул Сивый. – Трудишь руки – возвращаются силы.

– Так ведь еле стоишь! – ахнула Гарька.

– Дай.

– Не дам.

– Дай.

Сивый упорно тянул руку за тряпками, и Тычок, переглянувшись с нашей коровушкой, в конце концов сдался. Я про себя молила старика: «Дай! Пусть ходит на ручей! Там я смогу без помех с ним поговорить!»

Безрод забросил повязки на плечо и осторожно, шаг за шагом, двинулся к ручью. Вот и ладно. Там я его и поймаю! Из головы никак не шло восклицание Сивого после того, как он сходил на тризница. Все бормотал: «Пятнадцать... пятнадцать...» – будто забыл, что тогда случилось и сколько человек срубил. И однажды ночью мне приснился хитрый замысел. Посетила не умная мысль, а именно хитрая.

Рассудила так: если он не все помнит из того дня, может быть, забыл и то, что дал мне развод? Прикинусь мужней женой, заведу разговор о житье-бытье, как будто ничего не случилось. А если спросит, почему наособицу встала, скажу, дескать, поссорились. Но между мужьями и женами такое бывает. Ничего удивительного. Конечно, мало надежды на то, что Сивый забыл, кто должен был спровадить его на тот свет, в дружину Ратника, но лишь бы забыл про развод. Чего только между мужьями и женами не случается! И мужья бьют своих баб смертным боем, и жены темной ночью, пока благоверный спит, пускают ему кровь...

Я припустила к ручью окружной дорогой, мол, пришла сюда раньше и уже давно стираю свое бабье барахлишко. К памятнику наведаюсь позже, кстати, он почти готов, а рукам не грех дать отдохнуть. Все пальцы сбила, исколотила, пока тесала камень.

Слома голову вбежала в лесок, перемахнула через пару полеглых стволов и, едва не покатившись кубарем, спрыгнула в низину, к ручью. Совлекла рубаху, закуталась в плащ и сделала вид, будто стираю давно и почти закончила.

Ему придется несладко. Два полеглых дерева, под ногами скользко... чуть не выскочила навстречу – подпереть, но вовремя одумалась. Сразу поймет, что нарочно притаилась на берегу, поджидаю. Наконец раздался шорох травы, и сверху прилетело тяжелое дыхание. Оглянулась, якобы удивленно, и всплеснула руками, дескать, не бережешь себя, милый. Дайка помогу. Отстранится?

Нет, не отпрянул, не изобразил презрение и брезгливость. Немного неуклюже оперся на подставленное плечо, и я осторожно подвела Сивого к самому ручью.

– Чего же сам? – как ни в чем не бывало разлыбилась и кивнула на окровавленный тканый ком. – Неужели сделать больше некому?

Безрод выстоял себя, успокоил дыхание и осторожно присел на валежину, что Гарька стащила на берег. Начал за здоровье, кончил за упокой. Садился осторожно, однако ноги растряслись, и мой бывший просто повалился на бревно. Он и так сделал сегодня невероятное – без посторонней помощи дошел до ручья.

– Самое время, – тихо бросил Безрод. – Навалился. Хватит.

– Ну хватит и хватит, – покорно согласилась. – Только гляди, чтобы кровь не ударила в голову, когда над водой встанешь.

– Погляжу. – Сивый закатал правый рукав новой рубахи и бросил в мою сторону внимательный взгляд. – Тебе обязан?

А что, рубаха сидела на нем ладно, хотя кое-где уже протекла кровью. Впрочем, для того красную и брала.

– Нам, – буркнула, пряча улыбку. – Я в город моталась, Тычок денег дал. Все оказались при деле.

– Ладная рубаха. Благодарю.

За рубаху благодаришь, за сущую мелочь. Да знал бы ты, что я до конца своих дней должна тебе справлять новые красные Рубахи да с золотой вышивкой за то, что устроила на этой поляне! Откупить ли грех за кусок красной тряпки с рукавами? Было бы дело хоть полгода назад, с радостью на это согласилась и радовалась, что удалось отделаться так легко. Ишь ты, справила человеку обновку и грех загладила.

Но теперь я лишь качала головой. Нет, не соглашусь на такой легкий откуп. Боги за серьезные вещи берут серьезную плату, слова Потыка накрепко засели в моей бедовой головошке. Почему мой проступок вышел так тяжел? Да потому что любили меня очень сильно,

а как любили, так я сопротивлялась, глупости множила. Любил бы меня Сивый еле-еле, так и сопротивлялась бы чуть-чуть. И грехи выходили бы такие же – крошечные, да и не грехи вовсе, а так, баловство одно. В слове «грех» греха вышло бы побольше, чем в моих проказах. Но вон как дело обернулось. А все оттого, что нашла коса на камень. И угодило между косою и камнем нарочу видимо-невидимо, сначала полтора десятка воев, потом ватага увечных и калечных.

– Подлецу все к лицу, – усмехнулась. Поймала себя на том, что усмехаюсь, как Безрод, уголком губ. – Брала у самого лучшего мастера. У того подмастерье оказался твоего сложения. Вот и сказала, чтобы шил, будто на него. Как видишь, подошло.

– Вижу.

Сивый положил перевязочные полосы рядом, на бревно, и осторожно потянулся к сапогам. Стащить хочет, в воду полезет.

– Дай помогу.

– Нет. Сам, – жестко отчеканил Безрод. Пожалуй, слишком быстро и слишком жестко.

Ему было неловко гнуться, наверное, все тело выло и кричало, кое-где проступила кровь. Я кусала губу и молчала. Стянув один сапог, Безрод надолго замер, отдыхал перед вторым, копил силы. Глаза враз померкли, прикрылись, потухли. Наверное, боль навалилась, подстегнула.

– Спишь на чем? – буркнул вдруг Сивый.

Помотала головой. Что он спросил? На чем сплю?..

– На лапнике. На чем же еще?

Он долго смотрел на меня сквозь полуприкрытые веки, и я не знала, как прочитать этот взгляд. Впрочем, никогда не знала. Бывший муженек всегда являл для меня непостижимую загадку – думает непонятно о чем и делает то, чего никто не ждет. При чем здесь то, на чем сплю?

Сивый потянулся ко второму сапогу. Вроде бы дело нехитрое – сапог стащить, но, если при этом у человека белеет лицо, а губу он закусывает так, словно взялся за неподъемный гуж, думай, о чем хочешь, – окажешься прав. Хочешь, представь себе, как здоровяк впрягается в телегу, груженную мешками, подпирает плечом, ревет, будто бык, и вытягивает из вязкой, осенней распутицы. А хочешь, представь себе, будто схватились двое борцов и ломают друг друга.

Штаны у Безрода длинные, прикрывают ноги до самых ступней. Мой бывший не стал их закатывать перед входом в воду. На правой ступне заметила небольшой шрам. Интересно откуда? Сивый встал и медленно вошел в ручей по колено. С трудом согнулся в поясе и опустил руки с перевязочной тканью в воду. Вода тут же заиграла с лентами, полоская, ровно донную траву. Мне очень хотелось ему помочь, но я знала, что не позволит.

– Что ела все это время?

– Кашу. Что вы, то и я. Тычок выторговал у Брюста припас. Ведь не знали, как долго простоим. Охотой не промышляли. Пробовали твой лук натянуть, не вышло.

Сивый слушал молча. Знай себе тер полосы окровавленной ткани друг о друга, и краснота постепенно сходила, правда не до конца. Ленты перевязочного льна уже никогда не станут белыми.

– Ты... прости меня, дуру непутевую. Не от большого ума с тем парнем спуталась. Да и не нужен был он...

В груди бухало так, словно встала на край скалы и собралась прыгнуть вниз. Только в жутких снах видела себя на краю обрыва и по своей воле никогда не влезла бы так высоко. Высоты с детства боюсь, а теперь вернулось чувство жуткой тяжести внутри, когда отец впервые взял меня с собой на Каменный Палец. Стояла рядом с могучим воем девчонка-семилетка, крепко держалась за руку и с трудом глотала – горло от ужаса перехватило, в животе все стя-

нуло крепким узлом. Еле шевеля губами, я попросила отца: «Пойдем отсюда? По-большому хочу». Он тогда поджал губы, потрепал по голове и увел вниз.

Безрод натужно выпрямился и холодно посмотрел в мою сторону. Потом равнодушно пожал плечами и в четверть силы отжал две стиранные полосы. Осталось еще четыре. Этого холодного взгляда я боялась больше всего. Что он еще помнит?

– Дожди были?

Какие дожди? Ах, дожди! Но при чем тут дожди, когда я говорю о нас?

– Разок прошел.

– Хорошо, что только разок. – Сивый мельком взглянул на ясное небо. – Чего остановилась? Не стираешь?

Ах да, я ведь тоже стираю!

– Почти закончила. Барахла, сам видишь, немного. Вот только сполосну. Слишком много пенника просыпала.

Что еще он помнит из того дня? Я где-то слышала, будто от кровавых потрясений вои, случается, теряют память. Ничего не помнят. Или помнят половину. А если поймают удар в голову могут даже забыть собственное имя. Сивый, можешь припомнить мне все, хоть серпяной скол в амбаре Ясны, хоть глупую выходку, когда нас преследовали темные по лесу, только одно забудь – про развод и выброшенное кольцо. Думаешь, отчего вещи в руках держу так, чтобы прикрывали палец без кольца?

– Тебе больно?

Нашла о чем спросить!

– Больно, – просто и без затей ответил Безрод.

– Ты здорово стоял против Брюстовичей.

Промолчал.

– Когда на коня сядешь?

Сивый задумался. На мгновение застыл и ушел в себя. Видимо, слушал раны.

– Через седмицу.

– А потом куда?

Выпала раньше того, как успела сообразить, что спрашиваю. Сейчас как скажет: «Не твое дело!» С того памятного боя на поляне я перестала подмечать знамения богов. Не летали над нами журавли, ласточки и кречеты, не полыхали зарницы, не говорили со мной приметы. Боги являли знамение для того, кто о нем просил, и пока Безрод валялся без сознания, для кого всевышним стараться? Для меня, что своими руками растоптала все посылы к счастливой жизни? И с тех пор, как Сивый встал на ноги, я украдкой глазела по сторонам: не покажется ли где тайный знак? Но не было тайных знаков, не было и явных.

– Не знаю. Поглядим. – Безрод выпрямился, подавляя стон – спина затекла, раны звывли. – Дорог на свете много, нехоженных – еще больше.

– Тенька застоялся. Под седло просится.

– Скоро уже.

Сивый выжал еще две полосы, повесил на шею. Была бы я в его шкуре и меня страшно посекли, повязала ленты перевязочной ткани вокруг пояса, так удобнее. Вряд ли Безрод не догадался бы как сделать.

– Давно хотела спросить: почему ты беспояс?

Промолчал. Усмехнулся, искоса взглянул на меня.

– Долгая история.

– У нас еще много времени. Вся жизнь впереди.

Замерла. Спустит мне эту шалость или осадит, ровно наглуую соседскую свинью, что влезла на чужой огородец? Дескать, нет у нас больше общей жизни. Было и все вышло. Теперь каждый сам по себе.

– У тебя рубаха уплывает, – еле заметно усмехнулся.

Дура душой! Так напряглась, ожидая ответа, что не заметила, как ручей шаловливо вытащил рубаху из ослабевших пальцев и поволок вперед. Вздывая тучи брызг, рванула вдогонку, а когда настигла беглянку и выбралась на берег, Сивый уже уходил. Я припустила следом.

– Значит, через несколько дней сядешь на коня?

– Да.

– Может быть, на восток подадимся? Как шли до сих пор?

– Ты хочешь на восток?

– Да.

Он пожал плечами. Восток так восток. Ничем не хуже запада, полуночи и полудня. Не сказал: «Пошла вон, распутница!» Не прогнал! Мы вместе поедем на восток! А кольцо я найду, обязательно найду. У меня есть еще несколько дней. Сивый не помнит про развод, не помнит!

Хотелось петь. Одного боялась – горланить при человеке, рядом с которым петь плохо, по меньшей мере стыдно. Мы неторопливо обошли валежины, поднялись из низинки и подошли к стану. Сивый не оглядываясь ушел в палатку, а я скорее молнии умчалась к своему изваянию и там долго орала все песни, которые знала. Даже такие, от которых Тычок и тот сделался бы весел и хохотлив. А высеченный вой даже бровью не повел.

До вечера будто на крыльях летала, тесала мелкие детали так тщательно, словно от этого зависела жизнь каменного ратника. Как будто если он не досчитается на доспехе маленькой клепки, туда всенепременно придется сильный удар и защита расползется. А еще меня ждало таинство окраски рубахи вой в красный цвет. И если получится, такого, уверена, еще долго люди не увидят. Часто ли каменные изваяния щеголяют цветными одежками, да притом такими, что не тускнеют от времени и не стираются?

– Тебе понравится, – уговаривала я каменного воя. – Знаю одного отчаюгу, что носит красную рубаху. Ох и силен! Ты чем-то на него похож. Или он на тебя. Такой же неразговорчивый и холодный. Ровно в самом деле каменный. И глаза у вас похожи, колкие, страшные.

Мне не давали покоя Безродовы глаза. Если бы не злая память, что нахлынула в то мгновение, когда я занесла меч над его головой, снесла бы Гарьку прочь, как пушинку, и не отходила от Сивого ни днем ни ночью. Что мне Гарька? Встала бы нужда – с ножом на нее полезла, а то и с мечом. Но куда мне деваться от страшных воспоминаний? Именно эти холодные, равнодушные глаза смотрели на меня с того закопченного лица, и чем равнодушнее становился взгляд Безрода, тем более делались его мерзлые ледышки похожи на два синих ока того жуткого воя.

Душа рвалась пополам, и я ничего не могла с собой поделать. Мне бы исхитриться и поговорить, но едва подходила для разговора, язык словно каменной тяжестью наливался. Вот и сегодня, только собралась выведать о его прошлом, чем занимался, у кого воевал, будто наткнулась на невидимую стену. Спросила, почему беспояс, и за эту ниточку хотела вытянуть все остальное, но Сивый коротко отрезал. И что будешь делать? Настаивать? Я пока не стала для него той, которой хочется рассказать о тенях за спиной. А если спрошу про бой на отчем берегу, Сивый ничего выяснять не станет. Просто замолчит и отвернется. Но я узнаю правду. Непременно! Ведь у нас теперь вся жизнь впереди!

Еле приплелась к шалашу. Даже не думала, что день, так хорошо начавшись, высосет все силы. А когда ни жива ни мертва рухнула на свое «лапчатое» ложе, поняла – что-то не так.

Да, как обычно спружинил сосновый лапник, но, за многие дни привыкнув к постели, я мигом поняла – стало жестче. Разгребла хвойный настил, и пальцы наткнулись на ровное струганное дерево. Что еще такое? Вылезла наружу, под недоуменные взгляды Гарьки и Тычка вытащила из костра головню и нырнула к себе. В неровном свете огня увидела чудо расчудесное – под пушистыми колючими ветками прятался мастеровито сколоченный остов. Доски, стянутые между собой деревянными гвоздями, прятались под лапником и поднимали ложе на

четыре пальца от земли. Чудеса! Когда уходила тесать камень, ничего похожего не было даже в помине!

– Я тут нашла... там кто-то... в общем, чья работа?

– Чего расшумелась?! – напустился на меня старик, подскочив с места, ровно мальчишка. – Человек спит, а она крик поднимает!

– Скажи мне, Тычок, несчитанных годов мужичок, отчего моя постель стала жестка, ровно тризная дровница? Может быть, хотите отправить меня в дружину Ратника? Не рановато?

– Тссс, дуреха! – зашипел старик, за рукав утягивая вон с поляны. – Понимать должна!

– Что я должна понять?

– А то! – постучал меня пальцем по лбу. – Не бережешься, а у тебя еще все впереди!

– Да говори толком!

– Я и говорю, не пускай холод внутрь. Земля свое возьмет, даже не заметишь. Вытянет из тебя все тепло, а взамен бабью хворь подарит! Без детей хочешь остаться?

Вот те раз! Не первый день бок о бок стоим, никто не задавался такими вопросами, а тут нате вам! Проснулись!

– А Гарька...

– У нее то же самое. Сегодня мимоезжие плотники справили.

А может быть, на самом деле проснулись? Вот пришел Безрод в себя, огляделся вокруг холодным взглядом и мигом приметил, что две девки спят почти на сырой земле. Ну и что с того, что я навалила кучу лапника, а Гарька спит на трех бычьих шкурах?

– Эх, босота, что бы вы без меня делали?

– Ага, так я и поверила, что это ты придумал!

– А ну цыть у меня! Марш спать!

Старик уже отошел от недавнего потрясения, вернулись напускная сердитость и скомо-рошья повадки. Это Сивый озаботился! Ему не все равно, на чем я сплю, ему не все равно, что земля тянет из меня тепло и однажды могу на всю жизнь остаться пустой, ровно дерево без почек. Ему не все равно, смогу ли иметь детей. Неужели...

– Он меня любит... – едва не теряя речь от счастья, прошептала я. – Он меня любит...

Мигом бросило в жар, а потом в холод. Побрела к себе на пустых ногах и немедленно провалилась в сон. Встану на заре легко – несмотря на усталость, была в этом уверена. А там поглядим, придется богам по нраву моя задумка или нет.

– Вставай, Вернушка, вставай, красота! – меня привычно разбудил Тычок. И не просто разбудил, а с миской горячей каши, в которой островками торчали куски пахучего мяса.

– Мясо откуда? Ведь не охотимся!

– Полно горе горевать! – важно изрек старый егоз. – Был не в себе Безродушка, так и мы ровно не жили. А теперь все по-другому, вкушай жизнь полной ложкой!

– Так мясо откуда? – не унималась я.

– Ах, мясо... – Болтун хитро прищурился. – Обозы текут в город рекой. Прикупили. Теперь хоть все лето стой, не отощаем.

– Через седмицу в седло прыгнет, – еле выговорила. Весь рот забила кашей. – А больше нам и не нужно.

– Угрюмый он стал. – Тычок покосился на палатку. – Молчит.

– И раньше в болтливости не был замечен, – усмехнулась. – Не то что некоторые.

– Дурак болтает. – Старик по обыкновению затряс пальцем. – А я рассуждаю о смысле жизни, оторва!

– Нашел?

– Чего?

– Смысл.

Ишь ты, надул щеки, запыхтел, словно котелок на пару под крышкой.

– А ну цыть у меня! Много будешь знать – скоро состаришься!

– Ты, гляжу, много узнал? Хороша кашка!

– А вот каша и есть смысл!

Я замерла. И скажи, что нет!

Успела к самому рассвету. Солнце только-только вставало над кромкой леса. Я вокруг обошла глыбу, успокаивая дыхание. Отчего-то разволновалась, как девчонка в первое гадание. Чего хочу?

– Боги, боженьки, сделайте так, чтобы каменный вой надел красную рубаху, – прошептала, задрав голову в небо. – Чтобы видели издалека, чтобы не тускнела и не стиралась. Была бы у меня вечная красочка, так и покрасила бы. Но ничто не устоит перед напором времен... кроме вас, боги. И я хочу, чтобы стоял каменный вой в красной рубахе, пока есть на свете людская память. Пока ходят к изваянию и склоняют колени, пусть горит ярко-алым. Во всем, что случилось, только моя вина. Знала бы, что верну все назад, жизнь отдала. Но сколько раз можно отдать жизнь за жизнь? Один раз... а их полегло пятнадцать... а еще ватага убогих. Стоила бы моя ничемная жизнь всех загубленных, я бы сменялась. А с меня, дурехи, какой прок? Неделка. Ни свободная девка, ни мужняя жена...

Смотрела вверх. Слышат меня боги? Безмятежно голубело небо, облачка плыли в необъятной сини ленивые и розоватые от восходящего солнца. Понравится всевышним то, что сказала, будет по-моему, не понравится – значит, облезет с каменного воя краска после первого же дождя. Но я исполню задуманное, а там будь что будет.

– Ты встанешь у дороги в красной рубахе, – достала нож. Дышала с трудом, отчего-то грудь заходила ходуном, и во всем необъятном мире мне не хватало воздуха.

Еще, наверное, никогда каменные изваяния не делала девка. Я до кровавых пузырей стерла ладони, отбила все пальцы, то-то удивится мастер Кречет, когда увидит эдакое чудо...

Закатала левый рукав, на короткое мгновение замерла и отчаянно полоснула лезвием по запястью. Резала вдоль жил, а не поперек, кровищи сольется много, но отнюдь не вся. Бросила нож и сложила левую ладонь лодочкой. Пусть кровь стекает туда, ровно в чашу. Обмакнула в «краску» правый указательный палец и понесла на камень...

К тому времени, как солнце встало целиком, я управилась. Рубаха на каменном изваянии выступала из-под нижнего края доспеха, также были видны рукава, и все это оголтело полыхало ярко-алым. Под самый конец работы просто сливала кровь прямо с ладони, а пальцем лишь развозила «краску». В какой-то миг неосторожно дернула рукой и кровь слилась на изваяние, но вовсе не там, куда изначально хотела. Несколько капель попали на сапоги и выпачкали камень у самых ног, как будто вой стоит в луже крови и вымарал красным сапоги.

– Не так уж неверно, – прошептала я, в ужасе отступая. В тот день земля буквально покраснела от крови, и на Безродовых сапогах ее осталось изрядно... До сих пор видны подсохшие бурые разводы.

Намотала на запястье льняную тряпицу. Рана глубокая, но не серьезная. Суший пустяк. Отчего-то потянуло в дрему, и на сегодня я больше не трудяга. Не выдержу. Усну. Кое-как добрела до шалаша, повалилась на ложе и мигом рухнула в сон. А проснулась от странного звука, ровно где-то недалеко в деревянный жбан с некоторой высоты сыплется зерно, целая река золотистого зерна. Просто-напросто пошел дождь. Стук зерна – это биение капель в просмоленные и вываренные в жиру бычьи шкуры, кем-то заботливо брошенные на свод моего шалаша. Лежала, укрытая стеганым одеялом, и слушала шум дождя. Не сорвалась, будто уго-релая, не убежала в лес. Воде меня не достать. Сверху не прольется – шкуры брошены вна-

хлест, и задницу не подмочит – деревянное ложе стояло на подпорках, в четырех пальцах над землей. Лежи себе и слушай стук дождя по крыше. А когда вспомнила о том, что каменный вой мокнет сейчас под дождем и, возможно, все мои труды уже смыло к такой-то матери, едва на месте не подпрыгнула. Хотела тут же умчаться к изваянию, набросить одну из вошенных шкур, но что-то сдержало. Уже поздно. Капли вон какие, каждая со шмеля размером – что должно случиться, давно произошло. Пока добегу, пока наброшу... Да и есть ли в суете толк? Если смыло в первый же день, значит, судьба каменному вою стоять некрашеным. Даже хорошо, что смыло именно теперь. Огорчений меньше. Но кто бросил шкуры на кровлю шалаша?

– Э-э-эй, Тычок! – заорала в проем. – Слышишь?

Где уж тут услышишь? Капли стучат по земле, по листве так, что слова тонут в грохоте и шелесте.

– Э-э-эй, Тычок! Ты где?

– Чего-о-о? – из палатки высунулась озорная бородатая рожица. Ты гляди-ка, услышал. Вот ведь слух у старого! Иной к старости становится туговат на ухо, наш балагур – наоборот. Тонок на ухо, остер на язык.

– Твоя работа? – едва голос не сорвала. Хорошо, догадалась показать пальцем наверх. – Кто шкуры стелил?

Тычок разлыбился и горделиво ткнул себя пальцем в грудь. Дескать, я придумал, я стелил. Ага, так и поверила!

– Он меня любит! – улыбнулась, показывая сначала на палатку, потом на себя. – Понимаешь, любит!

Старик сделал непонимающее лицо и приложил к уху ладонь, дескать, не слышу. Но понять ведь должен?! Мою счастливую улыбку не понять было сложно.

– Понимаешь, он меня любит! Безрод меня любит! Я ему нужна здоровая и крепкая! Сивый простил меня! Он умеет прощать! У нас все будет хорошо!

Тычок, наверное, мало что понял, но на всякий случай закивал, соглашаясь.

Я, счастливая, рухнула обратно на ложе и уснула, ровно малое дитя. Мама в детстве пела – дождь идет, а ты спи. Грозы пройдут стороной, а ты спи. Ураганы не раз обметут деревья от листьев, а ты, кроха, спи. Копи дни и годы, вырастешь большая и красивая, а может быть, невысокая и дурнушка, но однажды найдет тебя счастливая доля и не спросит, как зовут.

А едва кончился дождь, быстро и внезапно пробудилась от счастливого забытья. Тишина гулко ударила по ушам, и если мне кто-то скажет, будто солнечный свет не проникает в малейшую дырочку, словно разноцветная змейка, рассмеюсь в лицо. Закатала штаны, сбросила сапоги и, босая, унеслась к изваянию. Наверное, лежит камень серый, а всю краску смыло летним дождем. Ничего, попытка не пытка. Я неслась по лужам, как беспечная малолетка, и нарочно шлепала, чтобы во все стороны поднималась целая туча брызг.

Представляла себе, как прибегу на место, а глыбища залита водой, в мелких ложбинках изваяния собралась вода, и не красным полыхает рубаха каменного воя, а бледно-розовыми остатками. Добежав, прыгнула в большую лужу... да так и осталась. И рот в удивлении раскрыла. Никаких бледно-розовых остатков, рубаха изваяния полновесно полыхала ярко-алым, как будто кровь слилась только что. Я осторожно подошла и присела. Сдула водяную пыль с памятника и легко поскребла ногтем окрашенный камень. Ничего. Не отходит, ровно прикипела намертво, въелась в самую глыбищу.

– Он любит меня! – крикнула голубым небесам. – И вы меня любите, боги!

Где-то в отдалении, там, куда ушли грозовые тучи, громыхнуло. «Ну ты, девка, наглая, – должно быть, удивились боги. – Дерзкая!» Да, я такая.

– Завтра же поташу ставить! А яму выкопаю сегодня. Каменный вой уйдет в землю на глубину коленей... нет, бедер... нет, вкопаю на глубину пояса, чтобы стоял вечно, пока ходит по небу солнце! Где мой заступ?

Вприпрыжку неслась обратно и дорогой все ревела: «Где мой заступ?» Земля размягчела, копать – одно удовольствие. Могу себе представить, как обрадовался дождю Потык. Ему жирная земля милее пуховой перины.

– Он меня любит! – шептала сама себе, швыряя комья за спину. – Он меня любит!

Еще до заката врылась по пояс. Должно хватить. Перепачкалась, будто чумичка. Скрипело на зубах, песок попал за шиворот, хорошо хоть штаны не извозила. «Купаться, купаться!» – в сумерках высигнула из ямы.

Наверное, жалкое зрелище я теперь представляла. Не пойми кто, мужик или баба, волосы понемногу отросли, стягивала их сзади в конский хвост, постепенно налилась былой силой, вошла в тело, но вместе с тем, как распрямились плечи, наружу полезла грудь. Соски торчат под рубахой, словно копейные наконечники, того и гляди, продырявят. Вылег тоже не дурак был. Дадут боги, еще найдет свое счастье.

Я ступила в темный лес и на ощупь двинулась к ручью. Раскидистые древесные кроны почти не пускали свет под полог, и тут, в лесу, смеркалось гораздо быстрее, чем на поляне. Скинула штаны, рубаху и основательно все вытряхнула. Вошла в ручей и высыпала на одежду пенника – дала крюк через шалаш, прихватила смену и мешочек «чистоты». Порошка не жалела, вокруг так и поднялась пена, будто впереди по течению кто-то опрокинул в воду целую бочку браги. Застирала штаны и рубаху, бросила на бревно и с наслаждением окунулась сама. И ведь не река – ручей, воды едва по колено. Наверное, тут в лесу шаловливый поток никогда не прогревался так, как это бывает со стоячими лужами и озерцами. В те ступишь ногой – ровно парное молоко. Меня же обдало прохладой, жгучей и пронизывающей, я уселась на дно, откинулась назад, на локти, и только голова осталась торчать наружу. «Он меня любит!» – улыбнулась, зажала нос и опустила голову под воду.

Пенник – удивительная штука. Добывают словно глину, с виду песок и песок. Но в воде он дает обильную пену, и грязь его боится, как разбойник сторожевого десятка. Впрочем, не все так просто – откопал и пользуйся. Сначала песок прокаливают в печах, наподобие гончарных, там он становится коричневым и с цветом получает свои удивительные свойства.

Я поднялась во весь рост, натерлась пенником с головы до ног, отфыркалась, отплевалась и, когда почувствовала, что кожа просто свербит и скрипит от чистоты, плашмя грянулась в ручей лицом вниз. Легла на воду, и меня медленно поволокло вперед по течению. Ветер ласково трепал мокрую задницу, и пока не воспламенились легкие, мамкина дочка послушно внимала воде. Освежило так, что еще немного – и на прохладном воздухе я зазвенела бы ровно гусельная струна.

И потянуло спать. Сон обещал стать таким же легким и чистым.

– Он меня любит! – шла назад и спотыкалась на ходу. Будто привычку ходить смыло, ноги сделались пусты, ровно соломой набиты. Эдакое чучело. Ну и что, зато соломенное чучело очень нужно ухарю в красной рубахе. И пусть все красотки на свете закусят удила!

– А что, Вернушка, нынче утром не уходишь камень тесать? – Тычок с неизменной площадью каши просунулся в палатку и замер, раскрыв рот. – Красотища какая!

– Нет, сегодня не пойду, – продрала глаза. – Где красотища?

– Сей же миг обернись. На-ка вот!

Сунул кашу в руки и выполз наружу. Ложку проглотить не успела, как снова появился и притащил зеркало. Глянулась и обомлела. Вчера улеглась, не до конца просушив космы, и теперь волосы пышной гривой вихрились на голове. Были бы подлиннее, как в недалекую бытность, такого не получилось. А так... не длинные, не короткие, под собственным весом еще не утягивают вниз и не топорщатся, будто ежик. Поди, никогда еще старый егоз не видел бабу с короткими волосами. Такую оторву, как я, днем с огнем искать...

– Мне нужна твоя лошадь.

– Это еще зачем? Губчика уже не хватает?

– погоди, не удивляйся. Еще мне нужен Безродов Тень и Гарькин Уголек.

– Это еще зачем?

– Перетащить кое-что.

Старик мигом догадался.

– Закончила? Неужели?!

– Ужели! – доела кашу и сунула болтуну пустую плоску. – Ты предупреди, чтобы не всполошились, будто коней кто-то свел.

– А веревки?

– Есть. Из города привезла в тот же день.

Вместе с инструментом, что купила у мастера Кречета, я тогда же, не мешкая, по совету каменотеса прикупила полета локтей крепчайшей веревки.

Пришло урочное время.

Так привязать или эдак? Кое-что знала из веревочного дела, но до подлинных знатоков было еще далеко. Путовяз из отцовской дружины знал о веревках столько, что мне понадобится прожить десять жизней, чтобы сравняться с ним в диковинном умении. На глаз безошибочно отмерял длину и вязал узлы именно там, где было нужно. Любую поклажу стягивал так, что нести становилось удобно, нигде не соскальзывало и не расслаблялось. Вот бы сюда веревочника! Но Путовяза порубили тем злополучным днем, когда враз перестала существовать моя отчизна.

– Две веревки с одного края, – прикидывала я. – Две с другого. Потянут не продольно, а поперек.

Нет, не годится. Изваяние станет цепляться за землю всей своей шириной, и ничего хорошего не выйдет. Но, если тянуть продольно, как бревно, веревки соскользнут, ведь уцепить их не за что. Ни сучка ни задоринки. Да и откуда на камне взяться сучкам и задоринкам? Тогда... нужно сделать несколько каменных зубьев! Дело недолгое, особенно для такого опытного каменотеса, каким за эти дни стала я. Чуть за полдень все стало в наилучшем виде. Несколько зубцов и канавок топорщились на нижней части изваяния и не давали веревкам соскользнуть. Тенька встал правым крайним, рядом впрягла своего Губчика, Гарькиного Уголька и Востроуха Тычка поставила справа.

Все узды связала воедино собственным поясом и потянула на себя. Пош-ш-шли! А когда веревки натянулись и лошади расчувствовали, что им предстоит тащить, все четверо извоновались. Тенька встал на дыбы, мой Губчик все косил лиловым глазом, Уголек и Востроух коротко ржали.

– Давай, Тенька, милый, ты не узнаешь воя в красной рубахе? – меня разобрала досада. Сделать такое и споткнуться на простом! – Губчик, хороший мой, давай, поднажми!

Но стоило каменному изваянию хоть немного тронуться с места, пошло легче. Тень как будто понял, что от него требуется и какой важности дело гонит всех нас на поляну, напрягся. То же Губчик. Уголек бунтовал дольше всех – еще бы, какова хозяйка, таков и конь! – а Востроух, подобно Тычку, все норовил отлынить. И не поверь тут в судьбу, что подсунула каждому из нас точное подобие в лошадиной шкуре. Тут вся моя надежда на Губчика и Теньку.

– Давайте милые, главное – не останавливаться! – Я тащила всю четверку за собой, едва руки не выкрутила, цеплялась босыми пятками за землю, как могла, и каменное бревно пошло, пошло, пошло...

Вот и дорога. Тут нет земли, что глыбища вспахивает и волочит за собой. По пыли вышло легче. Та стала чем-то вроде смазки, что пролегла между каменным изваянием и утоптаным трактом.

– Тенька, будь камень пошире, я бы и тебя изваяла. Честное слово! – натужно бросала за спину, и дышать становилось все труднее. Устала. – Хотя в той рубке Сивый стоял пеший.

Недалеко от поляны ко мне присоединился Тычок. Сама будто изваяние, у палатки застыла Гарька, Безрода я не увидела. Вдвоем со стариком отвернули лошадей вправо, туда, где чернели выжженные кострища. Стало заметно тяжелее, опять пошла земля, и после каменной глыбы остался распаханный след. Точно кожу содрали.

– Все, милые, пришли!

Перед самой ямищей мы с Тычком развели лошадей по обе стороны, двух вправо, двух влево, и памятник скользнул донной частью прямиков в яму. С глухим стуком глыба ухнула в провал, и земля ощутимо вздрогнула под моими пятками.

– Не отводи лошадей, держи! – крикнула я. – Поставим стоймя. Только веревки перевяжу.

Нырнула в яму и взялась за узлы:

– Сдай назад, ослабь натяг!

Старик подвел коней ближе, и один за другим, ломая ногти и царапая кожу на пальцах, я расплела все узлы. Перетащила три веревки на вершину камня, одну оставила болтаться свободно и крикнула:

– Давай, помалу!

Тычок потянул четверку лошадей вперед, и потихоньку глыбища встала стоймя.

– Держи так, не давай сойти с места!

Сама подхватила четвертый конец, что остался ненапрянутым, и утащила в сторону, противоположную Тычку и лошадям, аккуратно напротив, через яму. Сделала на конце петлю, намотала на колышек, приготовленный загодя, и молотом вбила остроконечный кусок ясеня в землю. Уже давно продумала, как все сделаю. Видела такое однажды. Мужики ставили на торгу столб, к верхушке подвесили новехонькие сапоги, а ведь каменное изваяние – почти то же самое, что деревянный столб. Главное, припомнить все до мелочей, подготовиться заранее и не метаться в поиске нужных вещей, ровно уж на противне. Молот и колышки должны быть под рукой. Я и нашла их там, где положила вчера, – у земляной кучи.

Мой каменный вой должен смотреть на дорогу. Так, собственно, и получилось. Пока тащили, перевернули на кочке и волокли лицом вниз, отвернули с дороги точно под прямым углом, и встал Красная Рубаха (имя собственное памятника, у Безрода именно красная рубаха) как следует. Поначалу будто к земле склонился, потом распрямился и обратил к дороге лик, перепачканный землей.

Я отвязала еще одного коня, натянула веревку и вторым колышком растянула памятник в сторону, противоположную первой веревке. Колышек пришелся как раз между лошадьми. Третью веревку растягивала, услав Тычка с Губчиком напротив. А там и четвертый колышек пошел в дело. Каменная глыба встала стоймя, растянутая веревками по сторонам света. Вышло немного кривовато, изваяние косилось на восток-полдень, однако это поправимо. Играя веревками, ослабляя и натягивая, мы с Тычком выправили Красную Рубаху. Держался каменный вой прямо, точно стройный полуденный тополь. Пока возилась да потела, вся память о вчерашней коже, скрипящей от чистоты, улетучилась. Взмокла, руки-ноги тряслись, как будто пятой лошадей встала в упряжку, хорошо пуп не развязался.

Гарька так и не перешла дорогу. Что-то делала, сидя у палатки, и косилась в нашу сторону. Безрода я не видела. Последнее время он стал куда-то уходить по утрам и возвращался далеко за полдень. Думаю, искал потерянную силу, ходил, плескался в ручье, поднимал тяжести по своим скудным возможностям, отсыпался. Представляю: вот приходит Сивый на поляну и глазам своим не верит, если, конечно, старик не разболтал, чем занимаюсь каждый день.

– Управились, Вернушка! – Тычок весело подмигнул, утирая рукавом пот.

– Управились, конечно, но мне еще пахать и пахать, – кивнула на изваяние.

Сначала засыпать памятник, потом отереть от земли, и, пожалуй, придется не просто отереть, а даже омыть. Таскай в бадейке воду с ручья и отмывай дочиста, пока не польхнет в свете солнца алая рубаха. Вот тебе еще одно испытание: а вдруг вся краска по пути стерлась, в земле да пыли осталась? Тут я, ровно очумелая, принялась бросать землю в яму, а Тычка столкнула на дно да велела хорошенько топтаться по рыхлятине и трамбовать. Старик не ожидал подвоха, коротко заверещал и полез было обратно, да вовремя опомнился. Места вышло немного, между земляными стенками и памятником поместился бы только щуплый баламут, да и то бочком. Очень уж мне хотелось поскорее убедиться в том, что краска выдержала более суровое испытание, нежели теплый, летний дождь.

Наш егоз разошелся, растоптался, даже приплясывать начал. А чтобы не впустую дрыгать ногами, песню завел, да такую, что Красная Рубаха должен был покраснеть весь, от макушки до самых пят.

Я слушала старика, и донельзя знакомыми выходили у Тычка муж да жена. Слушала, слушала, швыряла заступом землю и наконец не выдержала:

– Не было такого! Врешь ты все!

– А это совсем не про вас! – невинно усмехнулся балабол. – И нечего подслушивать!

Каков наглец! В полное горло орет песню, в которой чего только не происходит между мужем и женой, а ты, значит, не подслушивай, стоя в шаге! Волки в лесу и то слышат да прочь убегают: не сгореть бы со стыда.

– Не отвлекайся! Твое дело землю уплотнить.

Закидали и утоптали памятник довольно быстро. Балагур уже по ровному исполнил вокруг изваяния какую-то странную пляску, понятную только ему одному. И спел про Сторожище. Я когда-то слышала это название. Тычок и Безрод упоминали в разговоре между собой. Что было в том Сторожище?

А когда с котелком понеслась на ручей за водой, увидела Безрода. Он выходил из лесу, не со стороны ручья, а с другой и, подходя к палатке, замедлил шаг. Увидел на поляне нечто странное и удивленно воззрился на Гарьку. Та усмехнулась и кивнула в мою сторону. Сивый проводил меня долгим взглядом и медленно пошел к памятнику. Это я видела из-за древесных стволов, за которые немедленно спряталась, войдя в лесок.

– Ты еще увидишь на каменном вое красную рубаху! – горячо зашептала. – И многое поймешь! То, что хочу сказать, да не решаюсь.

Хороша я! С Вылегом болтала так, что рот не закрывался, едва мозоль на языке не выскочила, тут же ровно узлом язычище увязали. Ни бе ни ме.

С котелком воды и какой-то ненужной тряпкой бегом вбежала на поляну и только собралась было плеснуть на изваяние, как меня за руку удержал Тычок.

– Погоди, Вернушка. Не торопись. Дай земле высохнуть, по сухому обмети, а что останется, водой смой. Не разводи грязь.

И то правда. Как сама не додумалась? Безрод все еще оставался на поляне и задумчиво ходил вокруг. Пепелища, памятник... Холодно взглянул на меня, когда принесла котелок воды, кивнул. Нравится? Правильно я сделала? Люди должны знать о том, что здесь произошло. Один стоял против многих, и не смогли его сломать. Не смогли! Не сломался, не испугался.

– А кольцо я обязательно найду, – прошептала в спину Безроду, когда он уходил к палатке. – Найду, и все у нас будет хорошо!

Отчего-то вбила в голову странную мысль – если найду кольцо, все станет как раньше. Мы продолжим наш путь, и знамения станут указывать путь туда, где оба найдем счастье. Приходи на поляну завтра, когда под солнцем ярко заполяхает на изваянии красная рубаха. И смотри, не окаменей от удивления, когда не увидишь на вое пояса. Теперь мало что видно, все заляпано землей, но завтра, когда вода смоеет грязь...

Подскочила утром еще раньше Тычка, еще раньше солнца. Не утерпела. Сегодня закончу дело. Должно быть, так же чувствует себя зодчий, когда встает новехонький дом и конек с пушистой гривой венчает постройку. Долгие дни незаконченное дело кровоточит в душе, ровно незаживший порез, а когда на место встает последняя досочка, как будто ложится на рану последний шов. Много ли дел я закончила в жизни? Сколько раз просыпалась раньше солнца и бежала что-то доделывать? Может быть, построила что-то? Нет. Изваяла из глины полезную для хозяйства вещь? Тоже нет. Сшила себе девчачью обновку? Ну хоть что-нибудь?!

«Выучилась махать мечом», – прошептала сама себе. До совершенства, конечно, еще далеко, но все-таки. Больше не стану хранить нашу тайну, но расскажу об этом только Безроду. Он узнает, почему я стала воем и отчего сложилось именно так. Отец не обидится. Сивый должен знать обо мне все, он имеет на это право...

Подхватила тряпку и умчалась на поляну в рассветных сумерках обметать каменного воя от грязи. Вот мое дело! Сама задумала, сама исполнила. Чувствовала себя так, словно в пустую шкатулку для драгоценностей положила огромный сверкающий камень, прозрачный аж до голубизны.

– Ну же... Ну же... – подгоняла себя. – Давай!

Подсохшая земля отваливалась кусками, что сразу не отставало, ковыряла палкой. Потом сунула тряпку в котелок с водой и, не выжимая, провела по глыбе, точнехонько по рубaxe каменного воя. С трепетом ждала, серый или красный.

– Красный! – закрыла рот руками и завыла от облегчения. – Красный!

Плеснула из котелка и отчаянно заработала тряпкой. Пять раз бегала на ручей, и к рассвету весь памятник влажно блестел на утреннем солнце, а рубаха изваяния пламенела так ярко, что было видно с дороги. Кусок льна истерла в дыры, и ни крупинки красного на тряпке не осталось.

Протирая глаза, из палатки выбрался Тычок. Зевал, чесался и, едва углядев меня, припустил на поляну, смешно взбрыкивая ногами.

– Ну что? Красное?

Может быть, еще не проснулся, не разглядел ярко-алую рубаху? А может быть, от быстрого бега в старческих глазах расплылись разноцветные круги?

– Красная рубаха, Тычок. Ярко-красная!

Старик проморгался, прищурился, вытянул шейку и едва не носом ткнулся в изваяние.

– Красная! – изумленно прошептал егоз. – Ни пятнышка черного! Чем красила?

– Догадайся.

Старик посмотрел на меня и вдруг попятился.

– Не может быть!

– Может, – кивнула и показала затянутую тряпицей руку.

– Не смоемся и не сотрется! – убежденно закивал Тычок.

– Ровно в камень въелось.

– Услышали боги.

Солнце бросило первые лучи в просвет древесных крон, и багровая рубаха вспыхнула.

– Ты погоди, а я сейчас!

Старика будто в зад укололи. Подбежал к палатке, нырнул внутрь и через какое-то время появился. За рукав тащил Безрода. Гарька шла сама.

– Гляди, что мы сделали!

Сивый встал перед изваянием, долго смотрел на каменного воя, и готова поклясться чем угодно – синие глаза подернуло какой-то странной пеленой, которая скрыла меня, Тычка и Гарьку; не было никого из нас, а поляну, залитую кровью, заполонили люди, повозки и окровавленные тела.

– Хорошо ведь? – не унимался Тычок.

Сивый перевел взгляд на меня, и отчего-то показалось, будто его ледышки вовсе не синие, как показалось изначально, а темно-серые, точно грозовая туча. Коротко кивнул и, развернувшись, неспешно пошел обратно. Ну хоть бы что-то дрогнуло в глазах, ведь всем известно – если внутри беснуется пожар, отблески огня пляшут и в глазах. А тут... впрочем, скупой кивок много стоит...

Глава 5 ОДНА

Надолго запомню стояние на поляне. В моей недолгой жизни так долго я оставалась на одном месте считаное количество раз. Отчий дом, хоромы Ясны, эта поляна. Остальное – дорога. Когда окончится погоня за жар-птицей и настанет для меня время оседлости? Хочу встать на одном месте, давно пора. Столь многое произошло на этой поляне... и я успела понять о себе нечто весьма важное. На моих глазах погибли пятнадцать человек, едва не погиб шестнадцатый, благополучно скончались глупость и злоба, и только счастье гуляло где-то, искало меня и не находило...

– Вернушка, только погляди! – В шалаш нырнул Тычок и сунул под самый нос парующую плоску каши.

– Что случилось? Каша подгорела?

– Глотай скорее, дуй наружу, погляди, кто приехал!

Кого еще нелегкая принесла и почему я должна бежать наружу, ровно угорелая? Вчера я закончила большое дело и хочу спать. Спать! Давить изголовье стану до полудня! И все же, кого принесла нелегкая?

– Жуй быстрее!

Жую, жую. А не надо было совать мне такую горячую кашу! Язык обожгла. Не доев, полезла вон и только теперь поняла, чем это утро стало не похоже на все прочие. Шумел и гомонил небольшой табунок, а уж приглушенный гул человеческих голосов ни с чем не спутаешь. Поднялась во весь рост и выглянула на поляну поверх шалаша. Чуть поодаль Красной Рубахи встал большой купеческий обоз и... кое-кого из людей я узнала. Несколько человек ходили вокруг памятника и молча тарасились. Не может быть... не может быть...

В один присест заглотила кашу, бросила плоску Тычку и, утирая на ходу рот, поспешила к изваянию.

Брюст ничуть не изменился за то недолгое время, что прошло с нашей случайной встречи. Впрочем, говорить о том, изменился человек или нет, можно лишь хорошо его зная. А как хорошо я знала Брюста? Да никак. Видела лишь единожды, и в тот раз он показался мрачным и угрюмым. Сейчас ничем не лучше. Узнала еще нескольких. Тогда они состояли в дружине Брюста, и повезло им несказанно – до них не дошла очередь встать под Безродов меч. Побоище на поляне они запомнят надолго и воя в красной рубахе – тоже. И не узнать в каменном изваянии страшного беспоясого просто не могли.

Увидев меня, один толкнул другого, другой – третьего, и друг за другом купец и обозники повернулись на мой топот. Брюст узнал. А кто в здравом уме и твердой памяти не узнал бы дуру, из-за которой сложили головы пятнадцать человек? Должно быть, все, кто шел с караваном в тот злополучный день, видели нас в кошмарных снах – меня и воя в красной рубахе.

– Это ты? – мрачно обронил купец.

– Да, я.

– Узнаю. – Брюст помолчал и кивнул на изваяние. – Мне не за что его благодарить, но если бы этот вой оказался в моей охране, желать большего стало бы бессмысленно. Жаль, что он не выжил.

– Ты ошибся, купец, – усмехнулась. – Безрод выжил.

– Выжил?! – в голос воскликнули все разом. – Он выжил? Уложил одного за другим пятнадцать человек, слил на землю всю свою кровь и остался жить?

– Да, он выжил.

– И все это время вы оставались на поляне?

– Трудно везти человека при смерти за тридевять земель ворожцу под наговор.

– И в честь победы воздвигли этот памятник? – Лица парней исказились от презрения. Как я их понимала. Только больной духом человек, жадный до простых человеческих радостей, станет радоваться на крови и костях.

– Не думайте обо мне хуже, чем есть. – Я насупилась, глянула исподлобья.

– О тебе? Так это ты? – Брюст кивнул на глыбу и спрятал руку в бороду.

– Да.

– Твоя придумка?

– Моя, и сделала самолично. Не Сивому же тесать камень, когда он по кромке ходил.

Брюст переглянулся с парнями, и кто-то из них воскликнул:

– Но у него красная рубаха! Дескать, славься вой в красной рубахе, бесславие остальным!

– Ну и что?! Подумаешь, красная рубаха! Давайте начнем считаться, кто прав, кто виноват! В то утро не было победителя и побежденных. Остался лишь один выживший. Все шестнадцать правы, только... я не права. Меня судите.

– Ты как будто его ненавидела. – Брюст хитро прищурился.

– Дура была, – помотала головой. – Не мути душу, не вороши дно, и так тошно. Поедом себя ем, могла бы – оживила всех, но это не в человеческих силах.

– Снесу к Злобогу памятник! – мрачно процедил Снегирь, по-моему, именно он должен был встать в круг в мою очередь. – Нечего глумиться!

– Не дам! – Я метнулась к изваянию, прижалась к нему спиной и разметала руки в стороны. – Не помер тогда шестнадцатый – сейчас добить хотите? Не живого, так каменного? Только через мой труп! А если прибудете, ссыпьте прах в яму, что останется после Красной Рубахи. Всего-то день простоял.

Брюст удержал руку горячего дружинного на мече, испытующе посмотрел на меня и дал знак остальным, дескать, отойдите. Парни, кривясь от досады, сдали назад.

– А теперь поговорим, будто увиделись только что. – Купчина ронял слова по одному, веские, ровно булыжники, и граненые, будто изумруды. – Стало быть, с тех пор, как мы уехали, ты стоишь на этой поляне?

– Мы стоим, – кивнула в сторону шалаша и палатки.

У палатки стоял Тычок и смотрел в нашу сторону, даже ладонь пристроил к глазам. Здороваться не пошел. Что хорошего может пожелать старик людям, едва не убившим Безрода? Вроде не виноваты люди Брюста, а желать здоровья почему-то не хочется.

– Тогда мне показалось, вы с ним, будто кошка с собакой. – Купец не сводил с меня пронизывающих глаз. – И выходило, что мои люди убивают чудовище. Да, Сивый был в своем праве, расправился с обидчиком, который едва не растоптал его честь, но правда – вовсе не то, что слетает с губ... правда – то, что глядит на тебя отсюда!

Брюст расставил пальцы вилкой и показал на свои глаза. Я молча кивнула. Понимала, о чем толкует.

– Мои парни, кроме того, что мстили за товарища, избавляли белый свет от жестокого истязателя безвинной жены. А что теперь выходит?

Действительно, что теперь выходит? Я молчала. Нет никакого мучителя, нет безвинной жены, а есть только жена-дура, из-за глупости которой сложили головы пятнадцать человек. Как иначе Брюст и остальные парни должны на меня смотреть, если я никуда не ушла и все это время проторчала около «ненавистного» мужа? Было бы хоть что-то, оскорбительное слово или неблагоприятный поступок Безрода – стало бы возможно оправдать избиение одного многими, но к Сивому даже грязь не приставала!

Они имели полное право свалить глыбу и разбить кувалдами на мелкие кусочки. Такому большому каравану и напрягаться не придется – каждый приложится разок, и не станет больше Красной Рубахи. Что не смогли с живым человеком, получится с его каменным подобием.

– Можете спросить с меня за гибель парней, – буркнула, потупясь. – Именно это и нужно сделать. Не было мучителя безвинной жены, да и жена оказалась виновата по самое некуда. Я, дурында, обозлилась на весь белый свет, а Сивый просто оказался ближе прочих, его и кусала. Моя вина. Меня судите...

Брюст внимательно смотрел и слушал. Пожил на свете, чего только не видел, может быть, поймет.

– Долго рассказывать все, что между нами случилось. Если начну говорить, поверь, ты не уйдешь отсюда ни сегодня, ни завтра. Но, когда поняла, что кровь неминуема и сделать уже ничего нельзя, в тот момент для меня наступила вечная зима. Внутри кружит и выюжит.

– И ты поставила на пепелище изваяние...

– Да. Хоть и красная рубаха на вое, не победу одного хотела увековечить, – подняла глаза. – На этой поляне слилось много крови. И пусть с лица одного выжившего в мир смотрят пятнадцать павших.

Брюст внимательно смотрел на Красную Рубаху, а поодаль толпилась охранная дружина, бросая на меня недобрые взгляды.

– Ты хотела его убить и даже ударила, – задумчиво произнес купец. – Почему?

– Люблю, – угрюмо бросила я.

– После такой любви и ненависть не нужна. Вам нужно жить в глуши, подальше от людей, чтобы не гибли безвинные, – холодно усмехнулся Брюст. – Когда мы вернулись в город, стоило большого труда объяснить родным погибших, ради чего парни отдали свои жизни.

Я молчала.

– Если бы на обоз напала ватага лихих, это многое объяснило. В конце концов, парни подражались беречь людей и товары, и смерть в бою почетна. Но как прикажешь объясняться с их близкими? Какими словами рассказывать о побоище на поляне, когда пятнадцать человек срубил один сумасшедший вой, гораздый рубиться, словно целый десяток? Вся городская дружина, все, способные носить оружие, готовы были прочесывать окрестности, пока лихие не будут пойманы до единого разбойника. Я правильно сделал, когда не указал на тебя и твоих спутников?

Я молчала, исподлобья косясь на купца.

– Пришлось говорить, что была нештучная сеча, в которой полегло пятнадцать воев. – Купец упер в меня колючий взгляд. – Взял грех на душу, солгал.

– Ты тоже хорош, – не выдержала. – Натравил на одного целую свору. Не поединка хотели – укатать под горку. Виноват наравне со мной. Из одной чаши хлебаем.

Купец тяжело вздохнул, закашлялся. Конечно, виноват.

– И теперь на поляне, где погибли полтора десятка, встал этот нестигаемый вой. – Брюст положил руку на камень прямо над моим плечом.

– Тут страшное место. – Я прижалась к изваянию затылком. – Слилось много безвинной крови. Люди должны это знать.

– Правильно. – Купец не сводил с меня глаз. – На этой поляне охранная дружина Брюста приняла страшный бой с ватагой лихих, которую дорогой ценой извела под самый корень! Люди должны знать правду и чтить это место. А помогал моим людям вой в красной рубахе!

– Да, так все и было. Пятнадцать твоих бойцов и мой Сивый сражались против зла, только добро у каждого свое оказалось. А твои парни...

– Не скажут ничего иного. – Брюст глядел холодно и не мигал.

Я кивнула. И тут обозники радостно зашумели, раздались крики и смех.

– ...ожил, Суслыта? Прошел живот?

– Да уж, – тот, кого звали Суслытой, тяжеловесно сполз наземь, и облегченная повозка жалобно скрипнула. – Не впрок пошел мне корчемный поросенок! Только теперь отошло. А живот прихватило так, хоть кишки себе выпусти!

Обозники еще долго потешались над ненасытным Суслятой, а Брюст, переводя взгляд с едока на памятник и обратно, изумленно выгнул брови. Отнял руку от камня и внимательно оглядел пальцы.

– Не знаю, в чем замысел богов, но что-то здесь будет. Вон как удобрили землю, – шепнула я. – Много жизней забрали, чем отдадут?

Не нашла ничего лучше, как слово в слово повторить умную мысль Потыка. Брюст будто окаменел. Стояло одно изваяние, теперь стало два. Купец еще раз бросил острый взгляд на Сусляту и вслух повторил: «Чем отдадут?»

– Да, чем отдадут? И ладно бы передохли злодеи один другого страшнее, так ведь погибли только безвинные и убогие! Кровь слилась чище некуда!

– Убогие? – подозрительно переспросил Брюст, и глаза его опять подернулись колкой стыльостью.

Не хотела говорить, но если та страшная ночь поможет проникнуться, расскажу.

– Тут погибли не только твои люди. – Я вздохнула. – Через несколько дней Безрод опять кому-то помешал. Израненный, недвижимый, блуждающий по кромке.

– Расскажи.

Весь обоз косился в нашу сторону, хотя по-прежнему ни одна живая душа и близко не подошла.

– Калеки друг за другом пришли на поляну, и каждый был уверен, что стоит ему съесть Безрода, как недуг исчезнет. Нет глаза – съешь глаз, нет руки – ешь руку.

Купец требовательно смотрел на меня, не говоря ни слова.

– Мы не отдали Безрода на съедение. И не отдадим. Трупом лягу, но ни единый волос не упадет с его головы!

– Ну да, ты его любишь, – усмехнулся Брюст и покачал головой. – Значит, безвинные и убогие...

Кивнула. Эту землю оросила кровь безвинных, а боги даже дурную кровь не пускают зря. Прав Потык, десять раз прав!

– Мы не станем курочить изваяние, – после непродолжительного раздумья отрезал купец. – Просьба к тебе.

– Ко мне?

– Хочу побыть здесь один. Отойди.

Да ради богов! Не жалко. Ушла к себе и встала около Тычка, что держался прямо, будто жердь проглотил. Так и не убрал руку от глаз.

– Чего хотел?

– Да так, – скривилась. – О жизни говорили.

– Поняли?

– Поняли, – вздохнула.

Брюст замер у изваяния, будто на самом деле окаменел. Одну руку положил Красной Рубахе на грудь, вторую безвольно опустил. Его люди без понуканий занимались тем, чем и должны заниматься обозники во время короткой остановки. Каждый знал, что должен делать, и над поляной повис ровный гул. Но никто не запрещал им коситься в сторону памятника.

– Что это с ним?

– Он купец. – Мне показалось, что я поняла. – А купцы прозревают будущее на шаг вперед. Брюст видит то, чего пока не видит никто из обозников.

– И что?

– Не знаю. Только у Сусляты, кажется, прошел живот.

– А мы тут при чем?

– Может быть, ни при чем, – пожала плечами. – Поглядим.

Недолго стоял торговый обоз. Едва-едва отошли от города, запаслись водой и дальше пошли. Уж не знаю, что купец рассказал своим парням, но все до единого постояли у Красной Рубахи. Кто сколько, хоть самую малость, а постояли. И каждый приложил к изваянию руку. Будто здоровались с соратниками.

– Сивый там? – Брюст махнул на палатку.

У входа, ровно сторожевые, стояли Тычок и Гарька. Готова была поставить на кон собственную голову, что войти внутрь они не позволят никому, если только Безрод не захочет.

– Да. Только не выйдет. Уж ты не обессудь.

– Мало ему приятного на меня смотреть, – усмехнулся купец. – Да и нам тоже. Пусть все идет, как идет.

– Лошади напоены, можно трогать, – отчитался кто-то из старших обозников.

– Да, иду. – Брюст задержался около изваяния, пристально взглянул еще раз, будто напоминал. А может быть, на самом деле напоминал. Дорога длинная, еще успеет понять самого себя и свое отношение к памятнику. – Прощай, баба-каменотес. Если придется рассказывать небылицы у костра, про тебя расскажу.

– И ты не поминай лихом. Свалились тебе на голову, ровно снег летом.

– Не снег, – покачал головой и холодно улыбнулся. – Будто коршуны.

А ведь правда. Свалились на голову, точно коршуны, и унесли в железных когтях полтора десятка. Боги, боженьки, смогу ли когда-нибудь хоть на мгновение забыть об этом?

– Трогай! – зычно рявкнул купчина и ловко взлетел в седло.

– В походный порядок разойдись! – крикнул Снегирь. Теперь он заступил на место дружинного воеводы взамен Приуддера, безвременно покинувшего этот свет.

Купец что-то вспомнил и повернул вороного вспять. Несколько мощных скачков жеребцу хватило.

– Больше никого к обозу на перестрел не подпущу, – наклонившись ко мне, прошептал Брюст. – А с бабой тем более.

– Таких, как Сивый, больше нет, – не кривя душой, сказала то, что думала. – Дур, как я, тоже не найдешь.

– Береженого боги берегут. – Купчина холодно улыбнулся, и мне его улыбка очень напомнила Безродову, только мой бывший улыбался еще холоднее. Таких на самом деле больше нет.

Купец ускакал, а я провожала обоз глазами и шепотом просила у Брюстовичей прощения. Сивый даже не вышел. А если бы меня стали убивать?

Подо мной земля горела. Зуд в ногах обнаружился такой, что, не сбив дыхания, долетела бы до города и обратно. Но еще пуще чесался язык. Я должна была хоть кому-нибудь рассказать о том, что сумела сделать. Хоть кому-нибудь. Рассказала бы Потыку, но где стоит его деревня, знача весьма приблизительно. Тогда кому? А вот кому!

– Далеко наладилась? Даже кашки не поешь? – Старик замер на пороге шалаша, едва удержав равновесие. Я выскочила наружу, будто угорелая, чуть не снесла балагура.

– Нет, не стану есть. Время дорого. Боюсь, в конец изведусь, если не поговорю с ним.

– Да с кем же?

– С мастером Кречетом.

Только взбалмошная оторва, навроде меня, отправится в долгий путь, не перекусив. Но я такая и ничего поделаться с собой не могу. Кто сдернул с места всех – Безрода, Тычка, Гарьку – и не дал насладиться теплом домашнего очага у Ягоды? А кто сорвался утром с места, из-за чего Сивому пришлось резать ватагу лихих? Надо полагать, нужен был именно Безрод, чтобы спутать мне ноги супружеством и надолго усадить на одно место.

– Скоро верну-у-ушь! – уже в седле крикнула за спину и помахала на прощание.

Старый егоз искренне обрадовался тому, что на поляне встал Красная Рубаха, ведь он тоже приложил к изваянию руку. И даже не руку – приложился целиком, балагур возлежал на глыбище, пока я обводила чертами его тело для пушей правдоподобности. Не Безрода же просить. Гарька промолчала, от нее не услышала ни слова, впрочем, коровушка меня разговорами давно не балует. Сивый... Он принял изваяние как неумолимую данность. Есть и есть. Безрод непонятный. Иногда ловлю себя на том, что мало не качаюсь от чувств, что подняли в душе исполинскую бурю, на глаза наворачиваются слезы и от тоски хочется выть во весь голос. Но иногда накатывает и вовсе непонятное – смотрю в глаза, знакомые до боли, и словно перестаю существовать. Голова отказывает напрочь, только животный страх рвется наружу, члены сводит от желания вцепиться в белый свет ногтями, зубами и жить, жить, жить...

– Вернусь из города, и мы объяснимся. Хватит недомолвок, – прошептала себе под нос. А, собственно, почему шепчу? – Я вернусь, и мы объяснимся! Хватит недомолвок! Ты скажешь мне, что делал в дружине Крайра. Еще во время побоища положил на меня глаз, но умыкнуть не дали – общинного дележа не было! Не мытьем, так катаньем все же заполучил. Покоя не давала? Уплатил на торгу, ровно простой покупатель, и забрал с собой. И Крайра подговорил, дескать, незнакомы.

Да, хватит недомолвок! Объяснимся, и две мои половинки сольются в одну. Но ведь не только я раздвоилась?! Вас, благоверный, тоже двое – тот, что резал моих соратников на отчем берегу, и тот, что купил на торгу и не обидел даже словом. Обидные слова в амбаре, когда я лишилась рабского клейма, не в счет... Скорее, Губчик, скорее, миленький!

Глубоко в сумерках достигла города. Прости, Губчик, но много отдыхать не придется, в ночи двинемся в обратный путь, дабы к рассвету оказаться на месте. Хочу, чтобы наш разговор слушало солнце. Я могла бы попросить обмена сновидениями, как сделала это однажды, но больше не хочу лезть к нему в душу грязными руками. Хочу просто слушать и верить.

– Опять ты?

– Я тоже могу так сказать. Ты один в городской страже? Больше никого нет? Как ни приеду, ты на воротах!

– Просто... так получается! – Пузан сбил шапку на затылок и поскреб холку.

– Станешь спрашивать, зачем приехала?

– Да спрашивал уже в тот раз. – Вислоусый посторонился, пуская в город. – Иди уж. Вреда от тебя никакого, а пользу, глядишь, принесешь.

И непроизвольно огладил себя по брюху. Я рассмеялась. Весело стало на душе и хорошо. По памяти, будто прошла здесь только вчера, нашла мастерскую Кречета. Он закрывался.

– Здравствуй, каменотес.

– Вы только поглядите! Никак, Верна? Или с устатку грежу на ходу?

– Я, Кречет.

– Да проходи же! Не стой на пороге. Рассказывай.

Собралась с духом, будто перед прыжком с обрыва.

– Сделала! Что задумала, сделала!

Кречет выглянул на меня исподлобья и улыбнулся.

– Что сделала?

– Я расскажу все. И ты Расскажи соседям. Люди должны знать об этом.

– Люди должны знать? – Хозяин искренне удивился. – Да что такого ты сотворила? Откопала источник вечной жизни?

– Не знаю, может быть.

Каменотес мгновение подумал и кивнул.

– Сама расскажешь. Посиди, я мигом.

Кречет исчез и через какое-то время вернулся, да не один – его сопровождали люди, похожие на моего каменотеса, будто братья-близнецы. Кое-кто не снял даже кожаного передника.

– Это она. – Кречет кивнул на меня, и в мастерской стало вполтину темнее – каменных дел умельцы закрыли собой весь проход. – Та самая девка.

Мастера умолкли, будто увидели привидение. Смотрели на меня как на заморское диво.

– Она? – недоверчиво спросил рослый малый с ручищами неохватными, будто колбасы. Не уверена, что мне удалось бы сомкнуть на одном его запястье две свои ладони.

– Да. Готов поставить на кон свое дело – у нее получилось нечто стоящее!

Каменотесы примолкли, и лишь Кречет участливо мне кивнул:

– Давай, Верна, рассказывай.

Я прокашлялась. Конечно, хотела, чтобы люди узнали, но так быстро?

– В дне пути отсюда, если не гнать коня, а идти размеренной рысью, есть поляна...

– С ручьем? – переспросил невысокий сутулый крепыш, чьи руки самую малость не доставали до колен.

– Да, с ручьем. И на той поляне... – Запнулась. – Дружина Брюста схватилась с... величайшим злом. Помогал им... мой муж. Пятнадцать человек полегло, но кровь, раз пролившись, останавливаться не стала. Через несколько дней на наш стан напали... бродяги. Вознамерились живьем сожрать...

– Кого?! – прошептал изумленный Кречет.

– Моего.

– Знаю, босота голодает, но чтобы людей жрать... – Молодой каменотес, веснушчатый и рыжий, будто осенний лист, развел руками.

– Пришлось бить насмерть, – не стала вдаваться в подробности и объяснять, отчего калеки вдруг воспылали жаждой к человечине. Это наше с Безродом дело. Погибла ватага бродяг и погибла себе. Главное не это. Не ради того гнала сюда Губчика, чтобы смаковать подробности.

Каменотесы молча ждали.

– И я решила изваять каменного ратника, дабы увековечить память воев, проливших на той поляне свою кровь. Хорошие люди погибли из дружины Брюста, и ни на ком не было греха.

– Слышал что-то подобное, – трубным голосом прогудел парень по прозвищу Зубец, чьи неохватные ручищи так меня поразили.

– Я тоже.

– И я.

– Стало быть, твой муж, как и обозники, сражался на поляне, и теперь там стоит памятник в честь воев, сложивших головы?

– Да. И ни на ком не было вины, – прошептала я.

Мастеровые стояли неподвижно, даже с ноги на ногу не перемялись, пока рассказывала.

– А что, братья, побываем на поляне? Посмотрим, что девка наваяла. – Кречет оглядел соседей и, разбросав руки в стороны, будто крылья, обнял за плечи рядом стоящих.

– Не все сразу и не в один день, но побывать стоит, – подал голос длиннорукий, кого каменотесы звали меж собой Ущекот. – Глядишь, подправим что-нибудь.

– Ты, девка, руки покажи. – Громыхнул Зубец.

Протянула руки и растопырила пальцы.

– Да не так, ладошки покажи. – Здоровяк взял меня за руки и перевернул вверх ладонями.

Мастера сгрудились вокруг меня и как один разразились громким смехом. Я не понимала, в чем дело, и переводила взгляд с одного на другого.

– Наша девка! – смеялись каменотесы, и каждый протянул ко мне левую руку, ладонью вверх.

Не сразу углядела, тем более в полумраке, но все же заметила – руки похожи как сестры-близнецы. С большого пальца на указательный тянулась красная полоса; крепким хватом, сомкнув пальцы, я держала зубило и душила его под самой шляпкой. Только у меня полоса была свежей, красной, будто воспаленной, у Кречета и остальных – темной и ороговевшей, наверное, не сразу почувствуют, даже если мозоль прижечь огнем. Пальцы с внутренней стороны будто натерты, подушечки покраснели, ведь рука все равно соскальзывает вниз по зубилу во время работы. У мастеровых внутренняя сторона пальцев и вовсе походила на роговую кость – крепкая, желтоватая и скрипучая, сама слышала, когда они сжимают кулаки.

Я рассмеялась. Весело мне стало и хорошо, как будто в кругу родных оказалась. Хотела отдать молот и зубило, но Кречет не взял.

– У себя оставь. И серебро назад возьми. Даже слушать ничего не хочу! Людская память стоит серебряной денежки. Будешь поглядывать на зубило и нас вспоминать, а уж мы за памятником присмотрим.

– Там вот еще что... – замялась. – Изваянию сделала красную рубаху. Пока держится.

– Охрой?

– Не-а. Другим. Понадежнее.

– Чем же? Ягодным отваром? Не понима... – и осекся, углядев на моем запястье повязку.

– Ага, – кивнула я. Мастера переглянулись.

Каменотесы про такое явно никогда не слышали.

– Держится? – недоверчиво переспросил Ущекот. – Не облез памятник?

– Дождь выдержал, волок по земле выдержал, пока обмывала от земли да грязи – выдержал.

– Теперь пуще прежнего хочу взглянуть на изваяние. – Кречет оглядел собратьев. – И непременно съезжу. Кто со мной?

– Я!..

– Я!..

– Я!..

– Добро. Та седмица наша. Жди, Вернушка, в гости...

Хоть и вступила ночь в свои права, я возвращалась чиста и легка, ровно с небес улыбалось мне солнце. И не было преград и помех во всем белом свете. Точно камень с души отвалился. Смешно. Не тот ли это камень, что теперь стоит на поляне? Утром приеду на место и поговорю со своим бывшим. То есть не бывшим... это он так думает, и невдомек ему, что плевать мне на выброшенное кольцо. Кольцо найду. Но, если боги предназначили меня Сивому в жены, так тому и быть. Для того ли рыскал по стольким землям, чтобы отвернуться теперь? А что делал в дружине Крайра, сам расскажет. И только одно может встать между нами – кровь. Закляну, потребую правды и если выяснится, что нет на Сивом крови моих родных и соратников – отдамся в его руки и пробуду в таковых до самого последнего дня. А если окажется на мече Безрода кровь, просто уйду из жизни. Мы закончим начатое, только на этот раз все будет по-другому. Случится всего один удар, и под разящим клинком один из нас упадет. Я упаду. Знаю, что должна жить дальше, но так же хорошо знаю себя. В тот момент, когда узнаю горькую правду, у меня пропадет всякое желание жить. Никакие мудрые доводы жить не заставят. Он меня убьет, и я увижу родных.

Не гнала Губчика, ехала тихим шагом. Собиралась с мыслями. Ничего и никого не боялась. На всем пути от поляны до города лихих нет. Знала это доподлинно. А если нет опасности, почему бы не проехаться в свое удовольствие? В лицах представляла наш разговор и предвкушала окончание тревог и размолвок. Скажу ему... в общем... что наша свадьба вовсе не была ошибкой, как он полагает, и горячо схвачу за руки. А Сивый ответит... А я скажу на это... Безрод усмехнется и обнимет меня... А я лизну его в нос, как преданная собака...

Так размечталась, что не заметила, как на востоке заалело и густая сумеречная синь отте-нилась розовым. Осталось пересечь дубраву, миновать два пологих косогора, и по обе стороны дороги раскинется наша поляна. А вот теперь, милый мой Губчик, мы понесемся вскачь, и пусть твои копыта не оставляют следов на этой земле.

– Давай, Губчик, давай! Неси меня во весь опор! Сегодня для нас начнется новая жизнь! Я долго медлила, но теперь выясню!

А когда мы на всем скаку вылетели на поляну, сначала не поверила глазам; стоит Красная Рубаха, стоит шалаш, только... палатки нет.

– Они переставили палатку? Зачем? – недоуменно спросила Губчика. – Зачем?

Объехала всю поляну, ничего и никого. Прочесала окрестности на несколько сот шагов в обе стороны – пусто, и лишь около памятника страшная догадка клюнула меня в темечко. Будто голову сунула в прорубь – заохлоло нос, уши, щеки. Кончилась та седмица, по истечении которой Безрод обещал сесть в седло, да уж, видно, так сел, что слезать не стал. Ни палатки, ни забытых впопыхах вещей. Собирались обстоятельно, ничего не забыли.

– Он уехал, – прошептала, и меня качнуло в седле. – Безрод уехал. Не будет у нас общего дома, ничего не будет...

Перестала чувствовать голову, в ногах, наоборот, загудело, не иначе вся кровь отхлынула вниз. Небо и земля завертелись... Одного не поняла, если перед тем, как потерять сознание, я взлетела, обо что так больно ударилась? И как в небесах оказались копыта Губчика?

В голове завелся некто прожорливый и, словно грызливая мышь в амбаре, точил мысли. Отъедал окончание, и ни одну мысль до конца я так и не додумала. Последний слог растяги-вался, как протяжное послезвоние, и в ушах подолгу стояло незаконченное слово, длинное, ровно золотая канитель.

– Он уехал-л-л-л-л... – Я терялась и уходила в себя, будто привороженная убаюкивающим заклинанием.

– Он меня бросил-л-л-л-л...

– Я дура-а-а-а...

Раньше от мыслей в голове бывало тесно, они толкались и подпирали друг друга. А если бы каждая попадала на язык? Меня, болтушку, не выдержал бы ни один муж, даже такой холод-ный и долготерпеливый, как Безрод. Но теперь мыслям стало до жути просторно – проходили дни, пока одна сменяла другую.

Что произошло с миром? Что произошло со временем? Оно понеслось, точно горячий жеребец. Еще вчера мои штаны и рубаха сияли чистотой, сегодня измазаны грязью и травяным соком, колени и локти почернели от непрерывного катания по земле, волосы спутаны в кол-туны, а шалаш сумасшедшим порывом снесен к такой-то матери. Что я делала все это время? И где спала?

– Он меня бросил-л-л-л-л...

Нашла себя лежащей у памятника, обняла колени руками и каталась по земле, пока не стукнулась головой об изваяние. В моей несчастной головушке образовалась такая глубокая пропасть, что не хватало дум ее заполнить. «Сивый меня бросил-л-л-л-л...», «Безрод не вер-нется-а-а-а-а-а...», «Я ду-ра-а-а-а-а...» Дни, вечера, утра, закаты... какая разница?

Иногда видела людей. По-моему, это были люди. Они часто проходили мимо – все-таки дорога – и странно косились. Что я делала – не знаю, только несколько раз будто в дреме под-мечала обережное знамение, которым прохожие неизменно себя осеняли.

Постоянно хотелось забыться. Даже странно, что помню такие мелочи. Спала, точно сурок, под солнцем и под звездами, свернувшись клубком, как новорожденный в утробе. Уба-юкивал собственный голос, денно и ночью звучавший в голове: «Бросил-л-л-л-л...», «Я – дура-

а-а-а-а». Для меня время остановилось. И пусть вокруг оно несло как сумасшедшее, но стоило пропустить его через себя – замирало, как замирает всякая жизнь в стоячем болоте.

Несколько раз ловила: «Смеется девка, видать, умишком тронулась». Кто смеется?.. И слышала еще более испуганное: «Ты гляди, сейчас горло выплюнет, так заливаешься».

Однажды кто-то еще более оторванный, чем я, решил мною попользоваться. Уже видела над собой окривевшее от похоти лицо, но затем что-то произошло, и насильника снесло, ровно лист ветром. Кто прогнал бродягу? Не знаю. Было лицо надо мной и не стало. Вроде не нашлось на поляне никого третьего, однако тот чего-то испугался, и след его простыл быстрее, чем расходятся круги по воде. Свернулась клубком, и в голове разнеслось привычное «...бросил-л-л-л...», «...дура-а-а-а...». Даже не испугалась, и в душу увиденное не упало. Там просто не осталось больше места, всю ее заняла одна нескончаемая мысль.

А потом я пошла. Сама не поняла, куда и зачем. Пришла в себя и равнодушно удивилась. Меня догнал Губчик и ткнулся в плечо. Я иду по дороге-э-э-э-э... Куда иду-у-у-у-у?..

Хотела пригладить волосы, рука застряла, пальцы увязли в колтунах. Распутывать сделалось лень, расчесываться сделалось лень, мыться сделалось лень, поймала чих, но даже сопли утирать сделалось лень.

Говорят, спать на земле неудобно. Не знаю, мне так не показалось. Когда сидела у Красной Рубахи, когда кругами ходила по поляне, а когда лежала, свернувшись клубком, глядела в обе стороны дороги и взглядом провожала мимохожих и мимоезжих. На обидные слова и жесты не обращала внимания. Как будто смотришь на что-то большое, прямо перед собой, и видишь только это, остальное замечаешь краем глаза, в памяти ничто не откладывается. Все замечаю, но ничего не вижу.

Не ела. Просто не хотелось. Ветром носило по поляне муку, рассыпанные крупы уже давно склевали птицы, котелок покрылся грязью и царапливой уличной пылью. Не могла вспомнить, как в руках оказались три заветные вещи, нарочно оставленные моими спутниками, от каждого по одной. Положили у шалаша, но, когда разгромила свое временное жилище, унесла подарки к памятнику. Так и лежали около меня Гарькина тесьма для волос, Тычковы кожаные рукавицы и Безродово обручальное кольцо, чью пару я так и не нашла. Бездумно продела тесьму в кольцо, положила все в рукавицу, а рукавицы сложила крест-накрест. Будто хлопают. Целыми днями глазела на подарки и ни о чем не думала. Только бесконечные «бросил-л-л-л», «дура-а-а-а» звенели в ушах и заполняли все мое несчастное естество. Не стало больше Верны, остался мешок с костями, до краев полный незаконченными мыслями, звенящими и нескончаемыми, ровно послезвоние.

Не сказала бы, на который день по счету случилось нечто, что разбило ряску на моем стоячем болоте. Сначала в лесу раздался шум, который со временем становился лишь громче, а затем и вовсе произошло такое, чего люди никогда не видели. Раздались крики, в которых я безошибочно узнала залихватское уханье охотников, затем на поляну выметнулся... огромный волчище. Зверь не колебался ни единого мгновения, бросился ко мне и, точно дворовая собака, улегся рядом, просунув голову под руку. Охотники немного отстали, через какое-то время четверо выбежали на поляну и остолбенели. Нечасто увидишь, как волк бросается к человеку под защиту. Собственно, я и не была человеком, человек отдает себе отчет в словах и поступках, сосредоточен и собран, жесток и силен... В тот момент я представляла собой клубок жалости и страданий. Удивительно ли, что зверь бросился ко мне за тем, в чем отчаянно нуждался, – помощью и спокойствием?

Волчаре досталось. Одна стрела торчала из-под лопатки, вторая продырявила шкуру в области крупа да так и застряла, болтаясь на ходу, словно второй хвост. Видать, на излете попала. Охотники, brave парни, один другого здоровее, верховодил которыми седой, битый жизнью крепыш, опустили луки. Не в человека же стрелять, пусть даже в бабу, пусть даже полоумную! Что-то говорили мне, но я не слушала. Обнимала тряского зверя и вдыхала пряный

запах дикого животного, готового грызть до последнего вздоха. Спрятали стрелы, освободили луки от тетив и, коротко посоветовавшись, встали на поляне. Наверное, решили дожидаться. Волк или сдохнет, или метнется дальше, учуяв, что преследователи не отступятся. Через какое-то время зверюга простится с жизнью, возьмут, что называется, тепленьким. Потому и спрятали оружие. Шкура волка намочла от крови и едкого звериного пота, но я продолжала обнимать серого и даже голову не убрала. Возлежалась на нем, ровно на подушке. Никогда еще не было у меня такого изголовья.

– Отдала бы его нам. – Старший, тот самый седой крепыш подошел ближе, волк оскаллился и утробно зарычал, собрав нос гармошкой. – Наш он. С утра за сволочью гонимся.

– Ты плохой волк? – шепнула подопечному, дотянувшись до лохматого, остроконечного уха. – Ты нехороший волк? Резал овец?

Охотник меня услышал. Присел на корточки и с чувством повел, кося то на меня, то на волка:

– Хитер, сволота, жить не дает. То теленок пропадет, то овцу приговорит. Сколотил волчью ватагу и словно кого-то из людей некогда сожрал – умен стал, описать невозможно. Вот и теперь, учуяли нас, разделились, будто заранее договорились обо всем! Вожак прыгнул в одну сторону, стая – в другую. Ну мы, конечно, за этим припустили, он всему безобразию голова. Мотал нас по лесу целый день, и на тебе!

– На тебе-е-е-е-е... – повторила я.

Волк уронил голову на лапы, задышал медленнее и ровнее. Почему-то охотники не стали вырывать обессилевшего зверя из моих рук, но я даже не задалась вопросом, отчего так. Вроде затея на два вдоха – подошли к полоумной дуре и вырвали зверюгу из рук, но ведь отчего-то не подошли?

Лежала на волке, и перед глазами зияла жуткая рана, стрела толщиной с мой мизинец глубоко сидела в рваной дыре, все вокруг покраснело от крови и успело потемнеть.

– Полежи, нехороший волчишка-а-а-а, – погладила серого по морде, и волк, что удивительно, умиротворился. – Лежи смирно-о-о-о...

Приподнялась на колени, одной рукой ухватила стрелу, второй – обняла волчка и потянула. Тянуть стрелу из тела дело нелегкое, живая плоть – не дерево, сноровка нужна. В общем, не вытянула, только сломала. Как волчище не вырвался, ума не приложу, хотя в тот момент прикладывать было просто нечего – не нашлось у меня даже толики ума. Серый только рычал в небо, скалился, по огромному телу бегала дрожь, однако зубами не рвал, не вскочил и не убежал. Может быть, со второй стрелой получится? Засела не так глубоко, как первая, и осторожно смертоносное древко вытащить удалось. Почитай, под шкуру вошла, ничего серьезного.

Виды на подранка охотники имели серьезные. Разбили стан как раз на том месте, где еще недавно стояла палатка моих спутников. На ночь решили остаться? Предположили, что эта ночь станет для волчища последней, утром заберут бездыханную тушу и сдерут шкуру. Всей деревне покажут, что не стало лесного разбойника, умного, будто человек. Огонь разожгли, расселись вокруг, и кто-то один постоянно смотрел в нашу сторону. Даже спали по очереди. Палатку с собой не взяли, на столь долгую погоню не рассчитывали, но скатка на поясе нашлась у каждого. Кутались в тонкие верховки на ворохе лапника. Охотник не пропадет в лесу, какое бы время ни стояло, лето или зима. Счастливо перезимует, удачно проводит летнюю ночь и встретит солнце, низкое и холодное зимой, высокое и жаркое летом.

– Никуда ты не пойдешь-ш-ш-шь... – прошептала я, поудобнее устраиваясь на волчьем боку, подальше от раны. – Они тебя не получают. Но резать овец без счету нехорошо. Ты меня понимаешь?

Зверь лениво водил ушами и тяжело дышал. Косил на меня умным глазом и дергал верхней губой.

– А меня Безрод бросил-л-л-л-л... Уехал-л-л-л-л...

Тягучее, нескончаемое «л-л-л-л» клубилось в голове до самого утра.

– Выспался, дурачок? – с первыми лучами скользнула взглядом по телу зверюги и потянулась к ране.

Огладила шерсть и едва не поранила палец, что-то острое накололо подушечку, и я медленно, чересчур медленно отдернула руку.

– Волчишка, шерсть у тебя спеклась в иголки. Стал ежом, – осторожно, кончиками пальцев ощупала рану и нашла «иголку».

Острый скол древка вылез наружу, и вовне торчал окровавленный расщеп. Сам собой вышел из раны, а ведь ничего подобного вчера не было. Гладила рану, пока не заснула, и никаких иголок, что кололи бы пальцы, не было. Точно не было.

Охотники, все четверо, стояли неподалеку, но перейти незримую границу им как будто что-то мешало. Переглядываясь друг с другом, смотрели на нас. Не ожидали, что волк выживет, а серый смотрел на преследователей серьезным взглядом, как умеют это делать волки, и вострил уши.

– Палец уколола? – Седой недоверчиво сощурился.

– Ага-а-а... – протянула и задумчиво поводила мизинцем по обломку. – Уколола-а-а-а-а...

Все четверо еще раз переглянулись.

– Ты гляди, жив.

– А ведь кровящи серый потерял столько, что и на жизнь могло не остаться!

– Однако осталось, – пожал плечами третий.

– Что-то здесь не так. Я перевидел много волков со стрелой в боку. За день, за два – брал всех. Этот же...

А этот лежал смирно, положение тела не менял, лапы не разминал, будто вовсе не затекли. Лежал себе на боку и косил по сторонам взглядом острым, словно копейный накопечник. Только я ворочалась как ужаленная, вертелась так и сяк, устраивалась поудобнее на сером, пушистом и таком необычном изголовье.

– У тебя не будет пролежней-й-й-й... – гладила волка по свалывшейся шерсти, пыталась просунуть руки под тушу и хоть немного приподнять.

За полдень серый прикрыл глаза, и лишь верхняя губа стала чаще собираться в гармошку, будто волка настигла опоздавшая боль. Четверо словно забыли о преследовании, то один в лесу исчезнет, то другой, но всякий раз я ловила на себе внимательные взгляды. Охотники, что говорить. Все время, что стояли на поляне, пребывали с мясом. Утренняя трапеза, полдник, вечерняя трапеза. Однако я на запах жаркого даже носом не вела. Не хотела есть. А может быть, хотела, но видела еду как будто краешком глаза и чуяла краешком обоняния. «Он меня бро-сил-л-л-л», «Безрод уехал-л-л-л-л...»

– Я проснулась, месяц спит, кровь свернулась, волк со-пит-т-т-т... – настало утро, прихода которого даже не заметила, и только люди, освещенные малиновым сиянием, подсказали, что ночь уже позади.

Охотники, все четверо, стоя у незримой черты, во все глаза смотрели за мной – рты раззявлены, как у детворы во время представления скоморохов. Еще и пальцами показывали. Я и сама водила пальцем по ране волка и приговаривала чушь, которую только что придумала. Складно получилось, но как всегда последний слог заполнил собой все. В голове звенело глухое «т-т-т-т...», которое со временем стало похоже просто на слабый выдох, а я водила по заскорузлой волчьей шерсти и напевала.

– У меня с глазами неладно или наконечник сам собой полез из раны? – Старший чесал бороду и косился на собратьев, столь же растерянных.

– Когда эта сумасшедшая сломала стрелу, древка, что осталось в ране, вообще не было видно, – угрюмо бросил кто-то из охотников.

Да, его не было видно, а теперь подросло, будто корень-переросток. Обломок, что теперь торчал из раны, потянул наружу волоконца плоти и лохматые волчьи жилы.

– Сколько живу, такого не видел. – Старший, остальные звали его Плеть, неотрывно смотрел на нас, только я не смогла бы сказать, на кого именно. Может быть, на изваяние? – Не выталкивает рана стрелу, ну не выталкивает!

Волк приподнял голову и долго смотрел на охотников, морща нос и скаля зубы. Наверное, между зверем и людьми пролегли странные узы – что-то мешало следопытам с ножами броситься на подранка, а серый отчего-то не бежал прочь. Изогнул шею, распахнул пасть и с третьей попытки ухватил обломок, перехватил челюстями раз, другой и... сорвал прихват – зубы соскочили.

– Волчишка, волчишка, не хватай лишка-а-а-а, – пропела я, вставая на колени.

Еще вчера не смогла бы даже двумя пальцами ухватить наконечник стрелы, теперь пристроила всю пятерню на окровавленное древко и легко потянула. Оно и болталось едва-едва, хорошо зубья, что застревают намертво и не дают вытащить стрелу, вылезли сами. Вылезли сами... Была бы в здравом уме, удивилась, а теперь смотрю, но не вижу. У охотников глаза на лоб лезут, у меня с губ не сходит дурашливая улыбка.

– Ваше. Забирайте, – швырнула обломок охотникам, и наконечник только лязгнул, попав на камень.

Старший забрал обломок, поскреб ногтем. Все как и должно быть – ошметки мяса, черная кровь. Понюхал. Переглянулся с товарищами и отдал наконечник дальше. Молчал и смотрел на нас. А что говорить? Не видел бы своими глазами, не поверил на слово. Мне бы, дуре, спросить, почему ближе не подходят, но куда там вопросы задавать...

Волк зализывался. Лежа, вывернув голову, без попыток встать, как будто берег силы. На самом деле берег. Встал лишь вечером, в преддверии ночи, когда солнце село, а по дальнему краю на западе разлилось малиновое свечение. Волчище даже в сторону охотников не покосилась. Обнюхал меня, лизнул и вильнул хвостом. Думала, прощается, уходить собрался. Но нет. Серый лишь постоял на ногах, зевнул и улегся обратно, поднырнув головой мне под руку.

Исчез ночью. Я даже не заметила как. Уснула под убаюкивающее «л-л-л-л...», а когда проснулась, моего клыкастого знакомца и след простыл. Охотники неторопливо собирались. Уже, понятное дело, не в погоню, какая тут погоня, когда между беглецом и следопытами легла не то что пропасть – Вселенная. Четверо ни о чем не спрашивали и даже не разговаривали со мной. Кто разговаривает, допустим, с ослицей, коровой или нежитью? Многим ли я отличалась от нежити? Смотрю не прямо, а сквозь, говорю невпопад, странно выгляжу, еще более странно себя веду, не ем, почти не пью, отвратительно воняю. И все же охотники возвращались не пустыми, охота не прошла для них бесполезно. Парни разменяли два дня стояния на нечто небывалое, и еще неизвестно, что оценят выше – шкуру волка, пусть и умного, или то, что видели своими глазами. Затушили костер, убрали угли в ямку, прикрыли кострище дерном и были таковы. Ушли, как и не было их вовсе. Даже не попрощались. А чего с нежитью прощаться?

Солнце падало и вставало, по дороге шли и ехали, молча провожали меня глазами и осеялись бережным знаменем. Я по-прежнему лежала на земле, у самого изваяния, свернувшись клубком. Не ела. Просто не хотелось. Изредка пила, ходила под себя – вставать было просто лень, и однажды из лесу вышли какие-то люди, четверо, которые несли пятого. Совсем ребенка, мальчишку, лет семи-восьми. Уж где пострел шастал и чьи острые когти распорили ему грудь от плеча до плеча, я, наверное, не узнаю. Спросила бы – сказали. Но не спросила.

Здоровенные мужики, сами чем-то похожие на зверей, бородатые, косматые, без единого слова положили мальчишку около меня и ушли.

– Порвали тебя, дурачка-а-а-а, – подтянула к себе и улеглась головой на его ноги, так было удобнее. Страшный удар чуть не надвое распорол сухое тельце. Там, где когти вошли в грудь, по сторонам ран торчали лохматые заусенцы, а там, где уже вспарывали плоть, борозды шли ровнее и чище. – Должно быть, рысь? Точно не медведь – не стало бы тебя, глупы-ша-а-а-а...

Почему я не хотела есть? Только пила и ходила под себя по-маленькому. Лениво чесалась, когда кожа начинала свербеть, но даже чесотка и зуд не возвращали остроты чувств. Ну принесли кого-то. Раньше был волк, теперь человек, всяко теплое изголовье. Утро... день... вечер... ночь, уходит одно, приходит другое, не все ли равно? А перед рассветом, когда мальчишка застонал и начал ерзать, я вынырнула из своего забытья и удивленно посмотрела на мальчика. Сам не спит, другим мешает! Ну чего буянит, пытается расчесать грудь? Нельзя так, ночь для того и дадена, чтобы отдыхать, а не стонать и трепыхаться. Спутала мальчишке руки, улеглась на ноги и уснула.

Когда мальчишка потянулся и встал? На третий день, на четвертый? Не знаю, а только исчез он так же, как волк. Из лесу вышли косматые бородачи и унесли хабреца. Тот пытался встать на ноги, идти сам, но маленького духаря уложили на носилки. Полумрак лишь сыто чавкнул, и как будто никого и не было.

А когда надо мной склонилось лицо, показавшееся знакомым, а следом и второе, улыбнулась. Ровно сговорились. Кречет и Потык...

Растрясло. Убаюкало. Коняга Потыка волокла телегу неспешно, словно боялась за мой спокойный сон. А я уснула. Просто-напросто уснула.

– Вези меня, лошадка, за синие моря, эх, жизнь моя бедовая, все зря, зря, зря-а-а-а... – бормотала, свернувшись клубком на дне телеги. Ворох сена пах одуряюще, а много ли горемыке нужно?

Зря, зря, зря-а-а-а...

Спала всю дорогу, не скажу, где именно встала деревенька Потыка, на полуночи, на полудне, на западе или востоке. Далеко или близко, высоко или низко.

– Тпру-у-у, приехали, – раздалось над самым ухом знакомым голосом. – А ну, Полено, принимай!

Меня кто-то бережно поднял со дна телеги и понес. Над головой проплыла массивная притолока, а по левую руку выросла бревенчатая стена. Положили на лавку, чем-то укрыли, а меня отчего-то зазнобило. Застучала зубами. Вот ведь чудеса! Сколько дней на земле провалилась, хоть бы хны, а стоило в избе оказаться, пригреться под одеялом – разнесло на чих и сопли.

– Дело худо. – Я приоткрыла глаза. Надо мной встали четверо бородачей, а какая-то бабка всплескивала руками и причитала: – На человека не похожа! Батюшки мои, да кто это?

– Перевалок, топи баню, – оборвал старуху Потык. – А ты, мать, готовь снедь. Оголодала девка. Тоща как жердь.

Куталась в одеяло и лоскутным разноцветьем отгораживалась от мира, от света, от людей. Тут, под одеялом, мое «л-л-л-л...» звенело особенно гулко. А куда делся Кречет? Показалось или он действительно был там, у памятника?

– А где Кречет-т-т-т?..

Старик парил самолично, и странное дело, я не чувствовала неловкости. Как будто снова впала в детство, отец купает папкину дочку в большом корыте, а я смешно жмурю глаза, чтобы не попал пенник.

– Тот здоровенный каменотес? – Потык разложил меня на банном полке и пытался расчесать волосы. Заблудился в колтунах, как в буреломе. Распарил до того, что все нутро запо-

– Кто такой? Да ты не спи, девка! Слово бросишь и сникаешь, будто в сон клонит! Не время спать, отоспишься еще!

– Налетчик-к-к-к...

– Вот и славно. Память крепка, соображение имеется, просто растерялась. Ровно полтебя за Безродом убежала. Вполсилы живешь, в четверть смотришь, в осьмушку дышишь. Поднимайся, красота, вставай, Вернушка. Я тебя вот в чистое заверну.

Вернушка-а-а-а... Так меня Тычок звал. Где они теперь? Далеко-о-о-о...

– Цыть! – Потык высунулся за дверь. – Забирай в дом!

– Что с ней?

Старшему Потыковичу я годилась в дочери, он и взял меня, будто дочь, бережно, осторожно.

– Оклемается. Потерялась маленько, да ничего. Найдется.

– Ну и ладно. Пошли, красавица!

– Пошли-и-и-и-и...

Меня чем-то напоили, и я уснула. Дышала и надыхаться не могла. Сделалась чиста, ровно выстиранное исподнее, и даже гудело внутри теперь по-другому, выше и тоньше: ушел-л-л-л-л, бросил-л-л-л-л...

Снился большой и светлый дом, большой оттого, что балка взмыла над полом в три человеческих роста, а светлый потому, что на каждую стену пришлось по здоровенному окну. Высокую кровлю захотела я, а окна в каждой стене – Безрод. Очень понравился наш дом, наконец-то все мытарства остались далеко в прошлом. Что-то большое и невмерно радостное ждало меня в каждом «завтра»: Безрод рядом, улыбается, и все между нами ясно. Тычок весело балагурит, и даже Гарька рада чему-то своему. И кажется, на мне больше нет доспехов, меч отложен в угол, и занимается оружием только Сивый – чистит, наводит блеск и ухаживает всяким прочим образом. Я же занята бабьими делами, стираю, готовлю; вот и теперь вышла на реку, стою на мостках, рядом корзина с бельем. Но что за шум летит издали, как будто кто-то кричит?..

– Верна-а-а-а, горю!

Замерла на самом краю дощатого настила, и река едва не выхватила из рук белье. Кричали? Мне показалось, будто кричит мужчина, и вовсе не от радости. Определенно не Тычок, у старика сил не хватит на такой мощный рев. А ведь Безрод поет, вполсилы так рявкнет, что услышишь даже на другом краю леса.

– Безрод! – всплеснула руками, и белье таки уплыло. – Безрод!

Щеки запыхали, я невольно приложила мокрые ладони к щекам. Бежать, немедленно бежать к дому, бросить корзину у реки и сломя голову рвать назад! Прибрала одежды, утянула повыше, чтобы не мешали, и только доски подо мной загрохотали.

Едва не поскользнулась на сыром берегу, вылетела на утоптанную тропинку (оказывается, я столько настирала, что дорожка уплотнилась) и понеслась к дому. Низинка, песок, трава, косогор, поляна, поворот. Вылетела на открытое и оторопела. Гулко, неистово, мощно дом пожирало неумолимое пламя, гудело, трещало и бесновалось над коньком.

– Верна-а-а-а, горю! – Крик боли и муки прилетел из огненного вихря.

– Безрод, Безрод!.. – едва не захлебнулась отчаянием. Так бывает, когда резко встаешь с ложа. Какое-то время кружится голова и перед глазами цветут звездочки.

Недолго счастье длилось. Только пригубила из живительного источника, лишь смочила губы, и вновь иссушающее горе змеится внутрь, выхолаживает грудь, живот, ноги.

– Безрод, Безрод! – То не дом рушился – я выгорала, осыпалась кусками выжженного естества. Вот разваливается связка бревен, и угол дома шумно оседает, бессильно, кособоко, точно раненый вой.

– Безрод, Безрод!.. – сорвала горло и швыряла в огонь все, что попадалось, – камни, землю, даже рассудок швырнула, словно это могло помочь, а когда трезвомыслия не осталось вовсе, бросилась в пламя сама.

– Стой, дуреха, стой! – Чьи-то сильные руки крепко меня спеленали и обездвижили. Держали двое или трое, но какое-то время я волокла их за собой и подтащила так близко к огню, что волосы у нас затрещали, а дышать стало невыносимо больно и горячо.

– Безрод, Безрод!.. – уже не орала, а сипела, вытягивая руки к пожарищу. Огонь стегал воздух неумовимо быстро, глаз не успевал за бешеной пляской языков пламени, да и не осталось больше языков пламени – сплошная огненная стена волновалась передо мной.

Рухнула наземь и покатилась, избавляясь от пут. Нужно туда, я вытащу Безрода из огня.

– Верна-а-а-а-а...

– Пусти! – лупила по рукам, что держали за ноги и не давали ползти, удивительно цепкие, сильные руки. Тычок? Гарька? – Пусти!

– Сгоришь, дура!

– Там Безрод! – отчаянно лягалась, и на какой-то миг показалось, что вырвалась. Вскочила на ноги и припустила было к дому, но сзади жестоко и безжалостно ухватили за волосы и рванули назад, а когда несколько человек за руки-ноги распяли на земле, бессильно заплакала... и словно тряпку сдернули с глаз.

Черное небо, звезды. Зарево пожара отчаянно гонит ночь, беснуются языки пламени. Горит на самом деле, я лежу на земле, и несколько человек держат за руки-ноги. Темечко ноет.

– Очухалась? – вовсе не Тычок и не Гарька держали меня. Потык устало смахнул испарину со лба.

– Воистину медведица! – Полено разжал хват и еле поднял руки, сведенные судорогой. Пальцы так и остались растопырены, точно воронья лапа. – Думал, в огонь уволочет.

– Где Безрод?

Перед глазами цвело, кожу пекло, и в пожарище сошлись воедино явь и сон. Чуть сама не стала вечностью и едва не утащила за собой несколько человек.

– Убраться бы отсюда. – Перевалок дышал тяжело, будто в одиночку свалил неохватное дерево. – Вот-вот рухнет.

– Где Безрод?..

– Ну-ну, не буянь. Вон твой Безрод.

Он здесь?! Он здесь! Не бросил меня! А из-за пламени, откуда-то с той стороны, вышел Цыть. Склонился надо мной, какое-то время смотрел в глаза, словно искал что-то, и переглянулся с отцом.

– Ожила, ожила. – Потык довольно кивнул, поднимаясь на ноги. – Теперь не просто пойдет по жизни, умчится, ровно кобылка. Вставай, Вернушка, навалаясь по земле. Хватит.

Должно быть, моя недогадливость проступила на лице и сделалась так явственна, что Цыть без указок старика приложил руки ко рту и крикнул во всю мочь:

– Верна-а-а-а, горю!

Я ошеломленно села. Почувствовала себя неловко, чего-то определенно не хватало, как будто забыла одеться, выходя на люди. А все просто. Исчезло тягучее, вездесущее послезвоние в голове – вот чего не стало. Глядела теперь не краем глаза – в оба глаза, слушала в оба уха, и смрад пожарища лез в нос полновесно, а не седьмой водой на жиденьком киселе.

– Оттаяла, девонька? – Надо мной участливо склонились четверо бородачей и за руки подняли на ноги – все это время я лежала на траве и здорово извозила чистую сорочку.

Только тут сон окончательно улетучился, и действительность посмотрела на меня из множества лиц. Деревенские толпились вокруг, бабы сокрушенно качали головами, а мужики с

ведрами, полными воды, недоуменно застыли в десятке шагов от пожара. Застыли и смотрели на Потыка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.